

ВАСИЛИЙ АЖАЕВ

ВАГОН

ВАСИЛИЙ АЖАЕВ

ВАГОН

РОМАН



МОСКВА
«СОВРЕМЕННОСТЬ»
1988

Ажаев В. Н.**А34 Вагон: Роман.— М.: Современник, 1988. 223 с.**

Читателям Василий Ажаев (1915—1968) знаком как автор широко известного романа «Далеко от Москвы». Писатель много и сосредоточенно работал. Свидетельство тому — новый роман «Вагон», долгое время пролежавший в архиве В. Ажаева. В годы сталинских репрессий автор, как и герой «Важона» Митя Промыслов, не по своей воле оказался на Дальнем Востоке. Работал в лагере, видел людей, видел, как испытывается на прочность человеческий характер.

В романе перед нами предстает неприкрашенная правда подлинных обстоятельств, правда истории.

А 4702010200—308,
М106(03)—88

КБ-50-23-88

ББК84Р7

ISBN 5-270-00086-5

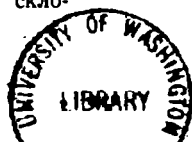
В 1948 году, восемнадцать лет тому назад, мне довелось прочесть роман Василия Ажаева «Далеко от Москвы». Вопреки пространившемуся потом мнению мы, сотрудники тогдашней редакции «Нового мира», не были первооткрывателями этого во многих отношениях замечательного произведения. К тому времени, когда Ажаев принес рукопись в «Новый мир», роман в первом варианте уже был напечатан в журнале «Дальний Восток». Но журнал этот выходил тогда очень маленьким тиражом и случилось так, что роман стал широко известен лишь после публикации на страницах «Нового мира».

Случилось и другое. У сотрудников «Нового мира», прочитавших роман Ажаева, сложилось впечатление, что эту, уже опубликованную вещь все-таки следует рассматривать как рукопись, над которой автору предстоит еще большая работа, причем сводившаяся не только к исправлениям написанного, но и к поискам целого ряда новых творческих решений.

Вопрос о том, пойдет ли автор уже опубликованной вещи на такую дополнительную и обширную работу над ней, оставался для нас открытым, и мы попросили его приехать с Дальнего Востока в Москву для того, чтобы вместе с нами решить этот вопрос.

Приезд Ажаева рассеял наши сомнения. Мы встретились с человеком, глубоко знавшим жизнь, уверенным в правоте своих позиций и в то же время без колебаний готовым совершить любую самую огромную дополнительную работу во имя того, чтобы его книга точнее и совершеннее с художественной стороны выражала тот замысел, которым она была воодушевлена.

Мы встретились с человеком, очень твердым в своих взглядах и в то же время очень восприимчивым ко всем тем дружеским советам, которые могли помочь ему сделать свой роман более цельным, строгим и стройным. Если он бывал не согласен с нами в чем-то, то никакими уговорами нельзя было скло-



нить его к самым маленьким поправкам, не требовавшим ни усилий, ни времени. Но зато, когда он видел в наших советах здоровое зерно, он порой шел гораздо дальше того, что мы предлагали, без колебаний вычеркивал неудавшееся и писал новые главы и куски, в итоге составившие чуть ли не четверть того окончательного варианта романа, с которым познакомился потом широкий читатель.

С разными людьми приходилось мне встречаться за свою редакторскую жизнь. Есть авторы, от встречи с которыми складывается ощущение, что они больше всего на свете любят себя и свою рукопись, для которых эта рукопись с какого-то момента делается чем-то самодовлеющим, отторженным от первоначально породившей ее жизни.

Но есть и другие авторы, для которых стоящая за рукописью жизнь навсегда остается чем-то самым главным и неотделимым от литературы. Они тоже любят свою рукопись, но любят ее прежде всего как часть той жизни, которая через нее выражена, любят стоящих за ней людей. Прежде всего любят не то, как они сказали о жизни, а ту жизнь, о которой они сказали.

Ажаев принадлежал именно к этому дорогому для меня сорту авторов. Для него за каждой страницей его рукописи стояла жизнь. И, если перед ним приоткрывалась новая возможность сказать об этой жизни вернее и глубже, чем им уже сказано, это всегда означало для него решимость зачеркнуть и написать заново.

Откровенно говоря, будь по-другому, мы напечатали бы «Далеко от Москвы», ограничившись обыкновенной редакционной правкой. Роман нам нравился и был нужен журналу. Но Ажаев страстно взялся за выполнение той программы-максимум, которая родилась у него самого под влиянием наших советов. Взялся и выполнил эту программу, проявив в этой работе такую волю и такое трудолюбие, с какими мне, пожалуй что, не приходилось сталкиваться ни до, ни после этого. Перед нами был человек с огромным чувством долга, человеческая личность большой силы, чистоты и цельности.

Таким человеком долга предстает перед нами и Митя Промыслов, девятнадцатилетний паренёк, комсомолец — герой нового романа Василия Ажаева «Вагон», к которому я и пишу это предисловие.

Не нужно особой проницательности, чтобы увидеть у истоков романа некоторые черты биографии самого автора. Этот роман — исповедь Мити Промыслова, в то же время в известной мере и рассказ о самом начале того долгого и трудного пу-

ти, который прошел сам автор романа, прежде чем стать известным всей стране писателем.

В романе Промыслов возвращается в Москву после того, как он написал общепризнанный научный труд по мерзлотоведению, а автор книги возвратился в Москву после того, как он написал роман «Далеко от Москвы».

Конечно, роман есть роман — в нем есть и обобщенные герои, и художественно преобразованные сюжетные линии. Но при всем этом я, читая роман, не могу и не хочу забывать, что сам Ажаев, так же как и его герой, в девятнадцать лет ни за что ни про что оказавшись на Дальнем Востоке в роли заключенного, по существу, прошел все то, о чем говорит, вспоминая свою жизнь, Промыслов. Работал в лагере, получал зачеты, досрочно освобожден, остался работать на строительстве вольнонаемным. Работал так, что с него даже в те времена сняли судимость. Просился на фронт. Получал отказы. Снова работал, строил дороги, нефтепроводы. Сделался там же, на Дальнем Востоке, из юноши взрослым человеком, заочно учился и к тому времени, когда начал писать свою первую книгу, работал руководителем одного из производственных отделов крупного строительства, справляясь с обязанностями, требовавшими серьезного инженерного опыта.

Человек с такой биографией, как у Ажаева, мог и не стать писателем. Василий Ажаев стал им. Его герой Дмитрий Промыслов не стал. И это не единственная разница между автором и его героем. Но сходство их состоит в том, что они, пройдя через все испытания, казалось бы, способные непоправимо искалечить человеческую личность, сохранили в себе и, более того, укрепили целостность этой личности, пронесли через все эти испытания глубокую, непоколебимую веру в Советскую власть, в социализм, в правоту наших идей, в силу нашего народа.

...Не так-то просто все это было. И о том, как это было непросто для самых разных людей, рассказывает роман «Вагон». И хотя на первый взгляд в нем говорится всего-навсего об одной первой странице этой трудной книги жизни, но в то же время за романом стоит весь опыт этой жизни и все те жизненные выводы, к которым она привела и героя, и автора.

Есть один трудный вопрос, который я не хочу обходить. Для тех, кто подобно мне увидит за историей Дмитрия Промыслова в какой-то мере и начало биографии самого автора, будет ясно, что через «Далеко от Москвы» тоже прошла часть его собственной биографии. А между тем в «Далеко от Москвы» нет ни слова об исправительно-трудовых лагерях, нет ни слова о том, что тот знаменитый, необходимый стране нефте-

провод, который тянули там, на Дальнем Востоке, в военное время, что он был создан не только руками свободных людей, но и руками заключенных.

У всякого человека, помнящего те времена, когда писался и публиковался этот роман, не может возникнуть вопрос о том, почему в нем не было рассказано всей правды о характере этого строительства. О том, чтобы опубликовать тогда эту правду, просто-напросто не могло быть и речи.

Но есть другой вопрос, который вправе задать читатель: почему, заведомо зная, что ему не удастся рассказать всю правду об обстановке и характере строительства, о котором шла речь в романе, Ажаев все-таки написал тогда свой роман.

Видимо, тут могут родиться разные ответы, но, если бы этот вопрос задали мне, я бы ответил на него по своему разумению так: очевидно, Ажаев испытывал глубокую внутреннюю потребность в той или иной форме все-таки написать о том, чему он был участником и свидетелем, о людях, которые тогда, в военные годы, построив этот нефтепровод, совершили, казалось бы, невозможное. В этой книге он и о заключенных написал, как о свободных людях, как о советских гражданах, которые в нечеловеческих условиях внесли свой собственный вклад в нашу победу над фашизмом. И сделал это вполне сознательно, желая своим романом поставить памятник их усилиям, их мужеству, их преданности родине.

Он хотел это сделать во что бы то ни стало, несмотря на то, что обстоятельства не позволяли ему сказать всего того, что он бы, несомненно, сказал в других обстоятельствах и что он говорит сейчас в своем романе «Вагон».

И он бы не мог написать этой книги, если бы подвиг всех героев его романа в то грозное для нашей родины время не был по самой своей сути сознательным подвигом людей, духовно несломленных и, несмотря ни на что, продолжающих считать себя такими же, как и все другие, — сыновьями своей родины, ответственными за ее судьбу в этой войне. И, я думаю, не случайно из всех лет своего трудного жизненного опыта Ажаев избрал как время действия романа «Далеко от Москвы» именно ту жесточайшую годину войны, когда на карту была поставлена сама судьба Родины.

Так я понимаю сейчас этот роман. Так я понимаю ту внутреннюю потребность, которая заставила Ажаева написать его.

Конечно, если бы он обладал не талантом писателя, а талантом композитора и написал бы тогда не роман, а симфонию «Далеко от Москвы», никто не спрашивал бы его сейчас, поче-

му он не сказал тогда всей правды. Писателям в таких случаях труднее...

Вся эта недосказанная тогда правда подлинных обстоятельств предстает перед нами сейчас в романе «Вагон». Ни одна из тем, связанных с историей нашего общества, не имеет права оказываться под запретом в нашей литературе. В том числе и такая трудная и горькая для нас тема, с которой связан роман «Вагон».

Для меня при постановке этой темы в нашей литературе неприемлема только одна точка зрения — точка зрения, сводящаяся к тому, что все это было закономерно, что при нашем строе все это так и должно было случиться, так только и могло быть.

Нет, неправда. Так могло не быть. Так не должно было быть. И испытываемая нами при воспоминании обо всем этом нестерпимая горечь прежде всего вызвана тем, что вся эта цепь страшных событий того времени противоестественна для социализма, для нашего общества, для нашего строя, противопоставлена и ощущается как нечто чудовищно несовместимое со всеми нашими идеалами.

И именно это чувство, с большой силой выраженное в романе Ажаева, составляет для меня одно из главных, если не самое главное его достоинство.

Есть в нем и второе, тоже очень большое в моих глазах достоинство. При всей тяжести тех нравственных испытаний, через которые проходят его герои, Ажаев показывает идейную силу этих людей и всю ту силу воспитанной в них советским строем и советским образом мыслей сопротивляемости, которая в конечном итоге все-таки оказалась непреоборимой. Несмотря ни на что, из всех тяжелейших нравственных испытаний, в атмосфере которых проходит все действие романа, победителем выходит его герой Дмитрий Промыслов, а не те страшные, противоречащие существу советского строя силы, которые пытались его нравственно сломать.

И в этом не только правда характера. В этом гораздо большее — правда истории.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

НЕ НАЙДУ НАЧАЛА

Ты когда-нибудь видела тюремные вагоны? Простые вагоны с решетками на маленьких окошках, за которыми бледные лица арестантов. Вагонзаки с лабазными замками на дверных засовах. Передвижные тюремные камеры, набитые людьми — сорок человек, восемь лошадей.

Если быть совсем точным, то не сорок, а тридцать шесть. Нары в два этажа, люди лежат впритирку, по девять человек в ряд. Поворачиваются все разом, по команде, иначе не повернешься. Грешное твое тело как бы перестает существовать самостоятельно.

— Ну что ты придумываешь. Не надо, прошу тебя...

— Я и не придумываю. Я просто говорю не то, извини. Я так долго молчал. Не пойму, почему я начал прямо с вагона?

— Не думай об этом. С вагона так с вагона, не все ли равно?

Да, конечно. В вагоне сумрачно даже днем, через маленькие окошки почти не проходит свет. И они закрыты головами счастливчиков, сумевших занять лучшие места. Впрочем, смешно говорить про заключенных «счастливчики». Хороши счастливчики за решеткой! Да и речь-то об урках, мгновенно объединившихся, чтобы навязать остальным свою волю.

Опять говорю не то. Блатные, вору — разве о них речь? Разве они самое главное? Все мы так оглушены, подавлены, так потрясены случившимся, что ни на кого и ни на что не обращаем внимания. Украли консервы? Да пусть заберут все! Издеваются, пристают? Наплевать, я их не вижу, я их не слышу. Почему я не ем? Не могу, не лезет в глотку. Вонюца от параши, нечем дышать? Мне безразлично, мне все безразлично! Все, что происходит, микроскопично в сравнении с главным. А главное — это острое чувство неволи, угнетенность, убитость, нестерпимое чувство ушедшей свободы, которую ты выпустил из рук.

Вот и нет слов. «Невыносимо», «немыслимо» — разве эти слова что-нибудь значат? Я прожил пятьдесят лет, всякое видел, холодал и голодал, погибал в болезнях, встречался со смертью. Неволя страшнее смерти! Вагоны куда-то несутся, ты заперт в одном из вагонов. Вагонзаки сутками стоят в тупиках, и у каждого вагона — часовой с винтовкой. Часовой, он ведь тебя стережет, ты это понял или нет? Как пережить чувство потери, чувство утраты самого дорогого в жизни? Видишь, я задыхаюсь, говоря об этом? А прошло с тех пор много лет. Ощущение неволи — это как удушье. Ты удивляешься, что я порой кричу во сне так яростно, так горько? А я не могу не кричать, я ору от тоски, от непереносимости неволи. Ты не разбираешь слов, а я кричу:

— Выпустите меня, выпустите! Зачем, за что вы меня заперли?

Наяву и во сне томительное ожидание: наш этап останавливается — большая станция. К вагону подходят люди, они объясняются с конвоем, с грохотом отодвигается дверь и раздаётся желанная и долгожданная команда: «Промыслов, с вещами!» Наяву ты стискиваешь зубы: ведь нет никаких людей и нет никакой команды. А во сне — крик отчаяния. Кричу, ибо невозможно сдержать крик и вытерпеть чувство неволи, оно так мучительно после минуты надежды.

Сколько может выдержать человек, какой прочности у него сердце и рассудок? Разве они выдержат такую муку? Нет, не выдержат, сердце разорвется, тронется рассудок. «Не дай мне бог сойти с ума», — бормочу я.

Все-таки большая прочность у сердца и рассудка. Прошли сутки, а я не умер и, кажется, не сошел с ума. Вторые сутки прошли, а я еще жив. Зима, стужа — тридцать пять градусов мороза. Кто-то из конвоя сказал, будто впервые за семьдесят лет такой январь в Москве. У нас в вагоне круглая железная печка, ее обхаживают самые опытные, бывалые, умеющие извлечь из скудных порций угля побольше тепла. Но тепла мало, на нарах, где мы лежим, холодно. Мерзнут ноги даже в валенках, покрытых сверху одеялом. А у меня и валенок нет, и одеяла нет. Э, да все равно! До валенок ли тут, до одеяла ли, на все

наплевать! И на мороз наплевать. И никто не нужен. Ты — никому, и тебе — никто.

Проходит третий день. И четвертый. Ты не умер, не сошел с ума и ловишь себя на устойчивом беспокойстве: не отморозить бы ноги. Топай, Митя, прыгай, шевели пальцами и закутывай ноги одеялом соседа — слава богу, у него их два. На станции никто не приходит к вагону: «Промыслов, с вещами!» Заставляю себя жевать жесткий хлеб и сухую, хрустящую солью селедку, пить чуть сладкий кипяток. Есть и пить, чтобы остаться живым! Твержу как заклинание: не лежи, двигайся, не кисни, иначе загнешься.

С удивлением вижу, люди ожили, перестали чураться друг друга, заговорили, в вагоне не смолкает шмелиное жужжание. Все делятся с соседями горем, все жалуются, обсуждают свое: арест, допросы, приговор...

На какой же день я заметил, что в вагоне установился железный тюремный быт?

Рано утром — на улице еще темно — с грохотом отъезжает в сторону массивная дверь-стена, зычный голос провозглашает: «Поверка!» Все вскакивают и строятся у своих нар в четыре шеренги. В вагон забираются начальник конвоя и два бойца с винтовками в руках (чтоб ты не напал, не убил, не бежал!). Начальник — молодой серьезный парень с кубарями — выкликает по списку, пока все не ответят: «здесь», «есть» или «я». Потерь нет, побегов нет — конвой удаляется. С ними уходят дежурные, они приносят уголь для печки, холодную воду для умывания, кипяток и паек — хлеб, соленую рыбу и кусковой синеватый сахар.

Начинается туалет с помощью кружки и параша: один поливает, другой умывается. Прочие потребности положено справлять по ходу поезда.

Дежурные на глазах у всех обитателей вагона делят еду на равные части: пайка хлеба, небольшой кусок рыбы и кусочек сахару. Один дежурный отворачивается от хлеба и смотрит на нас, второй, указывая пальцем на пайку, спрашивает: «Кому?» Первый отвечает: «Иванову».

Теперь можно завтракать. У кого ничего не взято с собой, тот довольствуется выданным. Кое-кого родные снабдили консервами, салом, жесткой колба-

сой. Надо поддерживать силы, надо питаться чем бог послал, и все едят, все жуют, и я уже не отстаю от всех.

Завтрак кончается, и каждый занимается чем хочет. Кто постарше, так и остается на своем месте, только принимает горизонтальное положение. Молодежь толчется на пяточке между нарами — это называется «гулять в парке культуры». Чаще всего затевается игра в «жучка».

Я не отстаю от других, тоже играю в «жучка», не смотря на тоску, грызущую сердце.

Блатные у окна непрерывно дуются в карты. Результат выясняется в течение дня: у кого-нибудь из нас что-то пропадает. Играя в карты, блатные поют: «Не ходи ты вечером так поздно и воров за собой не води, не влюбляйся ты в сердце блатное и жигана любить погоди». Набор блатных романсов неисчерпаем, как неисчерпаемо желание исполнять их хором, с завыванием, с присвистом и с надрывом. Иногда делаются перерывы, и тогда возникают печальные песни, вроде «Степь да степь» или «Чому я нэ сокил...». Эти песни заводит Петр Ващенко, высокого роста блондин с исхудалым лицом и белыми бескровными губами; когда его серебряный тенор взвывается кверху, кажется, кто-то схватил тебя рукой за сердце.

На больших остановках конвой дает нам газеты, которые сразу же идут на курево. В обитателей вагона, интересующихся газетами по прямому назначению, летят насмешки:

— Почитай-почитай, теперь тебе без газет невозможно!

А главное занятие — это разговоры о себе, о семье, о своей беде, бесконечные печальные истории на тему «Тебя за что?».

Хотя мой сосед, мой новый знакомый Володя Савелов только слушает и совсем не говорит. Может быть, просто погружен в свои невеселые думы? Мы с ним знакомы недавно, однако для меня он больше, чем сосед, он уже товарищ. Удивительно спокойный, сильный парень лет двадцати пяти. Еще на пересылке я чем-то ему приглянулся, и в вагоне мы не случайно очутились рядом на нижних нарах.

Сосед слева, Коля Бакин, непоседливый, озорноватый и даже хулиганистый малый. Ему, как и мне,

скоро стукнет девятнадцать. Мы заметили друг друга перед посадкой в вагоны. «Давай устраиваться рядом», — предложил он мне. Но сам на третий день перебрался из подвала на «бельэтаж». Сумел найти общий язык с блатными, и они посодействовали ему. Попросту говоря, они выперли из своего ряда человека, не подходящего их бражке. Перебираясь, Коля меня заверил: «Все равно будем дружить. Я не могу внизу — темно и нечем дышать». В самом деле он частенько спускается ко мне со своего аристократического верха.

Новые товарищи выручают меня, не знаю, как бы я без них обошелся. По очереди дают свои валенки. Володя подарил второе одеяло, подкармливает консервами, колбасой и сыром. Разве это не лучшая проверка товарищества? Коля Бакин, стараясь подсластить мою жизнь, угощает конфетами (мать снабдила его на дорогу даже конфетами).

Только я не смог ничем запастись, и кто-то из бывалых обитателей вагона справедливо назвал меня «бедолагой» и «пропащим». К счастью, у меня оказались деньги: последняя моя получка, которую выдали накануне ареста и я не успел отдать ее матери. Конвой обещал подкупить на наши деньги дополнительную еду, когда кончатся домашние припасы. Вот тогда я смогу рассчитаться с товарищами.

— Не думай об этом, нам хватит, — говорил Володя.

Он имеет в виду тяжелый брезентовый мешок с едой, принесенный к этапу хозяйственной, заботливой Надеждой, молодой женой. Я знаю, у него есть еще двухлетняя дочка, тоже Надежда. Володя лежит в привычной позе — на спине и руки под голову. Или долго ходит между нарами — от печки до параши и обратно, три шага туда и три назад. Когда лежим, мы беседуем, и это значит, я говорю, а он молчит и слушает.

Зато Коля Бакин не умеет молчать. Он все время должен действовать, играть в «жучка» или в карты, спорить с кем-нибудь или петь, в крайнем случае, просто беседовать. С одним блатным он сошелся на мечте о побеге. Они обследовали стены и пол, лучше всего и надежнее, по их мнению, бежать через пол. Но пол железный, его не возьмешь голыми руками.

Коля не отчаивается, вместе с блатными они ковыряют железо. Тяжело дыша, Коля приходит к нам и начинает вышептывать свои проекты побега. Володя его ругает:

— Перестань. Конвой услышит вашу мышиную возню и разозлится. Отсадят тебя в изолятор, только и всего.

Коля не может перестать: надо же куда-нибудь девать свое беспокойство. Ему не нравятся Володины нравоучения, и он уходит к себе, наверх.

Товарищи по несчастью терпеливо выслушивают мои горячие заверения: я ни в чем не виноват, меня посадили по чудовищному недоразумению. Я убежден: их, Володю и Колю, тоже посадили по недоразумению. И меня, и Володю, и Колю — я уверен! — должны освободить. Должны! И ничего, что мы далеко уехали от дома. Мы доберемся до дому, лишь бы освободили. С самого края света найдем дорогу!

— Ждите дождичка в четверг! — смеется кто-то из соседей, невидимый в полутьме. — Раз уж посадили, не выпускают. Вход сюда широкий, что ворота, а выход маленький, с форточку.

— Но ведь мы не виноваты — и он, и я, и Колька.

— По-твоему, я или еще кто-то здесь виноват? Никто не виноват!

— Да как же так? — спрашиваю я. — Не может быть!..

— Ты, парень, с луны, видно, свалился. Не знаешь, что в стране творится? Всех гребут подряд, вот как тебя.

— Ну, а зачем это? Кому нужно?

— Нужно, значит, кому-то. Люди нужны для стройки...

— Глупости говорит человек, верно? — я обращаюсь к Володе за поддержкой. — Если люди нужны для стройки, зачем сажать их в тюрьму, они сами поедут куда надо. Верно, Володя?

Володя молчит. И другие молчат. Потом невидимые соседи начинают гадать, сколько километров уже отстучал и отгудел поезд. Они гадают, куда нас везут, где выгрузят. Если в Сибири, в Маринске — это значит, сельскохозяйственные лагеря; если потащат на ДВК, то станем строителями.

— Наверно, я бестолково рассказываю. Надо бы сначала, а я сразу про какие-то вагоны с решетками, арестанты куда-то едут.

— Как рассказывается, так и рассказывай. И, главное, не волнуйся, у тебя руки дрожат. Ты пойми, твоя история была давным-давно, больше четверти века назад.

— Я вернусь к началу. Так будет лучше.

Начало... Где оно, начало моей горестной истории? Жил-был в Москве на Сретенке, в Сухаревском переулке парнишка, работал на заводе и учился в театральном институте. Хвастался, что все успевает: работать, учиться, гулять с Машей. Каждый вечер ходили с ней на каток либо в театр (у Маши тетка — билетерша), либо в кино, либо просто бродили по улицам, несмотря на мороз. И, если бы не болезнь матери, все было бы хорошо. А заболела она как раз в то время, когда отец уехал в командировку.

Вот и начало. Или уже конец? Не пойму.

Маме стало получше, и она отпустила меня на целый вечер. Тем более что приехала мамина сестра и взяла на себя все домашние хлопоты. Мы с Машей пошли на каток и бесконечно долго катались. Все наши ребята ходили на Петровку: близко и удобно, самое лучшее место для свиданий. Мы часами носились по льду, взявшись за руки. Ни ноги, ни языки наши не уставали. Говорили и говорили обо всем на свете. Либо стихи читали — и я, и Маша любили стихи. И уходили с катка не потому, что надоело (нам никогда не надоело), и не потому, что не хватало больше сил (мы никогда не уставали), потому, что гасли огни и обрывалась музыка, каток закрывался. И то мы еще не сразу уходили, катались без огней и без музыки.

После катка начиналось наше хождение по кругу: Трубная — Сухаревский переулок (там жил я) — Сретенка — Рождественский бульвар (там жила Маша). И снова тот же маршрут. И снова, и снова. В этот раз у нас была особая причина для долгого кружения: три дня оставалось до Нового года, мы все должны были обсудить. Провожаем старый год каждый у себя дома с родными. Потом несемся к Сретен-

ским воротам (у цветочного магазина постоянный пункт наших встреч). Оттуда в Милютинский переулок к Гале Терешатовой — в ее просторной квартире будем встречать Новый год. Мама разрешила мне гулять до утра и даже выпить вина. Вот такой роскошный план был у меня.

Пришел в два часа ночи, надеялся потихоньку пробраться в свою комнату, но мать не спала и окликнула:

— Очень уж долго гуляешь, химик. Завтра в утреннюю смену, не забыл? Спать осталось меньше четырех часов.

— Четыре часа — это даже много. Вполне высплусь, мама.

Постоял возле нее, осторожно обнял. Поговорили о папе: скучно без него, уже месяц, как уехал, и ни одной весточки.

Устал и так захотел спать, что едва хватило сил раздеться. Лег и сразу провалился в сонную яму.

Эх, не удалось поспать законных четырех часа, тетя разбудила:

— Митя, вставай. Митя, пришли за тобой, вставай.

— Кто пришел, тетя? Кто пришел?

Насилу удалось открыть глаза. У кровати стояли двое незнакомых, у двери — толстая дворничиха, она непрерывно зевала. Один из ночных гостей сунул под нос бумагу.

— Что это?

— Ордер на арест и на обыск.

— На арест? На обыск?

Я никак не мог очухаться. А может, я и не проснулся?

— Одевайтесь, — сказал один из гостей. Второй делал обыск: копался в столе, листал мои тетрадки и книги.

Мать едва поднялась и пришла из соседней комнаты. Тетка с мокрым от слез лицом поддерживала ее под руку. Сонная одурь враз с меня соскочила. Человек тяжело болен, а они приперлись. Жаль, нет отца, он бы им показал, как приходиться по ночам.

Прости, мама, прости, дорогая. Ты могла бы кричать на меня: «Что наделал, стервец? Что натворил?» Но ты не кричала, только глаз своих измучен-

ных и скорбных не сводила с бедного арестанта. Тетка совала сверточек.

— Возьми, голубчик, с собой. Хлебушек и сахарок.

— Не надо, тетя. Зачем? Мама, я скоро вернусь. Какое-то недоразумение. Разберутся, и я вернусь.

Один из военных, глядя в сторону, подтвердил:

— Конечно, разберутся.

Ничего себе, скоро вернулся!

Куда-то везли, а куда, не видно. Недаром, наверное, приезжают ночью: ты ничего не видишь и тебя никто не видит. Долго мотало в темной большой машине (вспомнил, что ее зовут «черный ворон»). «Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной?»— эту песню любит отец, он частенько напевает ее тихоньким грустным тенорком. Наконец остановился мой «черный ворон».

— Выходите.

Высоченная кирпичная стена и широченные стальные ворота. Тюрьма, Митенька, казенный дом.

— Товарищи, я хочу выяснить, в чем дело?

— Потом выясните, гражданин. Все узнаете.

Коридоры, бесконечные коридоры и железные двери. Повороты направо и опять направо, налево и опять налево. Гулко и тревожно раздаются шаги — мои и тюремщиков. Какой запах, какая тяжкая, тошнотворная вонь, невозможно дышать.

Одна железная дверь с грохотом и лязгом открылась.

— Входите, гражданин.

— Товарищ, я хочу узнать, объясните мне.

— Не задерживайте, гражданин, потом будете выяснять.

Снова грохот — железная дверь захлопнулась за моей спиной. Войти не могу — некуда. Свет маленькой лампочки под потолком тускло освещает огромную комнату, набитую людьми. Они вповалку лежат на деревянном настиле, лежат головами к стене, вторые ряды — головами к ногам первого ряда. И третьи ряды. И четвертые. Храпы, хрипы, удушьящая вонь. Стою у двери с узелком, некуда ступить. Забираюсь на второй деревянный пол, ищу места. Слышу глухое ворчание:

— Что ерзаешь, балда? Пристраивайся, где стоишь.

Присел на корточках и застыл, закаменел.

Ты был человеком, Митя, ходил куда хотел, делал что хотел, теперь ты не волен, раз — и ты в тюрьме. За что?

Ну, ладно, Митя, подожди хлюпать, все разъяснится завтра же. Но завтра ничего не разъяснилось. И послезавтра не разъяснилось, сунули в камеру человека и забыли. Кипел, мучился, сходил с ума: третий день прошел, дома тревога и мамины горькие слезы. Сумела ли она вызвать отца? И Маша ждет, ведь уже канун Нового года! Если даже в одиннадцать отпустят — успею. Поцелую мать, обниму отца (наверно, он уже приехал), посижу с ними, поздравлю с Новым годом и побегу к Маше, она будет ждать возле цветочного магазина у Сретенских ворот. Расскажу в лицах про свое приключение. Вот посмеемся!

Ох, и посмеялся же ты, Митя! Маша встретила Новый год без тебя. Много, много лет она встречала Новый год без тебя.

— Вот видишь, довел тебя до слез. Не надо вооружать это. Не надо!

— Нет, говори, говори. Я должна знать все.

БУТЫРКИ

Помнишь, ломали бутырские стены? Я пошел смотреть. Много людей собралось, запрудили всю Новослободскую. Люди толкались, шумели, вслух вспоминали, ругались, плакали, смеялись.

— Бутырки, Бутырки, проклятый дом!

— Не сосчитать всех его жильцов!

— Сколько людей не вернулось, боже мой!

— Теперь уж чего вопить?

— Все-таки почему ломают? Не пойму.

— Времена другие, чудило. Такая стена — позор для Москвы.

— Вообще зачем тюрьма, братцы: в Москве не осталось ни одного жулика.

— Не осталось? Мой совет тебе, побереги карманы.

— Я слышал, для воров будут строить современную тюрьму, с ваннами и телефоном.

— А контру куда?

— Какую контру? Эх, темнота, газет не читаешь. У нас теперь не сажают за политику.

Меня словно раскроили пополам: один я ходил и слушал, тоже шутил, улыбался и думал, здорово, что в Москве происходит такое; второй я едва сдерживал вопль. Толстые, метровой толщины бутырские стены, за что же вы меня, мальчишку, замкнули, заточили, замуровали?

С громкого возгласа «Поверка!» началось мое бутырское утро. Все вскочили и построились по два ряда с каждой стороны. Зашла тюремная охрана и сделала переключку по списку. В камере было семьдесят два арестанта.

Совсем худо стало после проверки, когда дежурные убрали на весь день середину деревянного настила, площадь для лежания сократилась на одну треть. Смертельно хотелось спать, но едва я пристраивался, как меня сгоняли с места.

Какой-то парень сжалился, дал совет:

— Ты постучи в дверь, заяви надзирателю, что тут все занято, пусть переведут в камеру посвободнее. Не может быть, чтобы вся тюрьма была битком набита. Нельзя так относиться к человеку! Тем более под Новый год!— возмущался парень, обращаясь ко всей камере.

— Конечно, безобразия!— отозвалась камера.— Ты не молчи, малый, ты требуй. Раз сунули в тюрьму, обязаны дать плацкарту. Особенно под Новый год.

Я подошел к железной двери и постучал.

— Громче!— подсказали мне. Постучал громче. Залязгал запор, дверь открылась, появился угрюмый надзиратель. Я объяснил все, заикаясь.

Надзиратель кинул мне презрительный взгляд, сказал «Стервецы!» и с грохотом захлопнул железную тяжелую махину.

Так началась обязательная для новеньких программа тюремного разыгрывания. Впрочем, я не понял этого, не заметил усмешек и удовольствия, полученного от моей беседы с тюремщиком.

Вывели на пятнадцатиминутную прогулку, я вострепнулся: все-таки воздух и над головой московское небо. Дыши, Митя, глубже! Каменный дворик, высо-

ченые и толстые кирпичные стены, вышки с часовыми и небо с овчинку, а воздуху и не глотнешь, так перехватило дыхание. Надзиратели к тому же боятся, как бы ты не замедлил хождения по кругу (чего доброго, перемахнешь через семиметровые стены!): «Давай быстрее! Давай!» Нет уж, к чертям такую прогулку, лучше опять в камеру. С грохотанием топаем обратно длинными коридорами. Вот и наша камера... Приткнулся у чьих-то ног и затих, застыл, замер.

— Эй, новичок! Ты что привалился? Ишь, гостиницу нашел! Чеси отсюда!

Вечером, оглохший и отупевший от горячайших дум, я доверчиво отозвался на новый розыгрыш. Три арестанта, у ног которых я было устроился, начали бриться и прихорашиваться. По их оживленному разговору я с удивлением узнал: они идут в кино. Оказывается, в тюрьме ежедневно вместе с пайком выделяют на камеру три билета и арестанты по очереди смотрят картины. Меня почему-то ободрила эта новость.

Арестанты посоветовались, и кто-то сочувственно сказал:

— Слушай, иди вместо меня, вот мой билет. У тебя тяжелое настроение, понимаю. Я давно сижу, привык, мне легче.

«В самом деле,— подумал я.— Посмотрю кино и хоть забудусь на время».

Тот же добрый человек поскоблил самодельной бритвой мои щеки, почистил руками мою одежду, поплевав на ладони. Меня растрогала его забота, я не знал, как благодарить.

— Что ты, мы все тут братья.

И вот трое счастливицков с билетами в руках направились в кино. Погромыхали в дверь, еще погромыхали и еще, а когда она с лязгом открылась, перед надзирателем стоял я один, протягивая билет. Камера в восторге надрывала животы, выла и стонала. Надзиратель выругался. Разочарование было оглушающим, а обман настолько предательским, что я упал вниз лицом, чтобы никого не видеть.

— Оставьте пацанка. Нашли, фраеры, с кем позабавиться. Мальчик сам не свой, а они спектакль на его душе играют. Тебе говорю, карзубый черт, отсе-

ни! И ты тоже хряй проворней, не то кровь с зубов, ты мою руку знаешь.

Это спокойно и уверенно распоряжался камерный староста Иван Павлович — грузный человек с властными манерами и тяжелым взглядом больших светлых глаз. Он присел рядом.

— Не переживай, малец. Терпеть-то много теперь придется. Скучно здесь, вот кореши и взяли тебя на бога. Такой уж в тюрьме обычай — разыгрывать новеньких. Без смеха, без шуток тут быстро станешь чайником. А теперь ты прошел самую первую науку, от тебя отстанут. Другие новенькие придут, и ты же сам станешь играть в кино. Ну, будет тебе! Идем со мной, я тебя устрою. Да ты не озирайся волком, я не обижу, разыгрывать не буду — стар уж для детских игр. Вот здесь располагайся. Вы, орлы, раздвиньтесь. Слышите, что я сказал? Потесните ваши задницы, дайте человеку законное, государством положенное место. Не маленькие, должны знать, государство обеспечивает каждому гражданину два законных места: одно в тюрьме, другое на кладбище.

Камера живо реагировала на речь старосты, он тоже не оставался в долгу. При этом помогал мне устроиваться у стены, с любопытством расспрашивая, кто я да что я, чей сын, откуда родом, чем занимался, за что взяли голубчика. Мне тошнó было говорить о себе, но и молчать нехорошо: человек по-доброму ко мне отнесся. Я выдавливал из себя по словечку. Он огорчительно поцокал губами.

— И не жулик ты, а взяли! Берут совсем без разбору. Человек работу выполнял, учился, пользу приносил — и на тебе, загребли зачем-то. Видно, политическое тебе обвинение. Это худо. В наше время куда лучше быть простым жуликом.

Для примера, очевидно, староста рассказал о себе. Несколько лет в тюрьме и, наверное, на всю жизнь. По словам Ивана Павловича, был он добрым хозяином, власть разорила подчистую, семью сослала, и все родичи погибли, остался сиротой. Пошел в тюрьму политическим, а сейчас уж не отличишь от любого урки — статья уголовная и привычки блатные.

Староста рассуждал без злобы, почти добродушно, с насмешкой над самим собой. Язык у него был

странный — жаргон, густо уснащенный пословицами, поговорками и матерщиной.

— У тебя сосед образованный, не обидит,— сказал в заключение Иван Павлович и толкнул в бок соседа, укрывшегося шубой.— Эй, инженер, я тебе ко-реша привел, знакомьтесь!

Пристроив меня таким образом, староста отпра-вился в свой угол. Пришло время делить хлеб, наре-занный пайками. Для меня все было внове и необыч-но, даже древнее тюремное правило распределения хлеба. У нашего многоопытного старосты оно выгля-дело торжественным обрядом.

Мой сосед в самом деле оказался инженером и вежливым человеком. Более того, он был не просто инженером, а инженером-химиком, специалистом по содовому производству. Меня обрадовало, что я вдруг встретил почти коллегу.

— Давайте все-таки познакомимся, как подобает интеллигентным людям,— сказал сосед, когда я поведал ему о своей работе на заводе.— Меня величают так: Валерий Георгиевич Кубенин.

Очень уважительно назвал он самого себя. По-том, проведя с Кубениным рядом (вернее, пролежав бок о бок) не один томительный день, я понял: судьба свела меня с влюбленным в себя человеком, у которого тщеславие подчинило все страсти и разум.

Потрясенный своей бедой, я каким-то посторон-ним от горестных переживаний зрением наблюдал за этим человеком. Не стесняясь соседей, он прихора-шивался, часто брился, пользуясь услугами камерно-го доброхота парикмахера, возился с длинными ног-тями.

Кубенин странновато выглядел среди арестантов. Хотя он и делал вид, что равнодушен к чьему-либо вниманию, ему нравилось звание Народный Артист, присвоенное камерой.

Я не сразу заметил, что он глухой. Он умел «слы-шать» ответы по губам собеседника, да ему слушать почти не приходилось, поскольку говорил он, главным образом, сам. В тюрьме люди вообще много разгова-ривают, Кубенин же не говорил, только когда спал. Рассказывал, что он потомок старого дворянского ро-да, что прадед его был декабристом. Что его обо-

жают в семье, считают гением и почти каждый день приносят в тюрьму посылки. Что его любят до безумия друзья и готовы сидеть в тюрьме вместо него. Что его ценят в наркомате как большого специалиста. Что любая женщина немедленно в него влюбляется.

Даже в своем положении Кубенин находил пищу тщеславию. Он доказывал: тюрьма еще больше повышает его авторитет, уважение близких и друзей. Он, Кубенин, не возражает против тюрьмы, ему не хватает только привычного комфорта и слухового аппарата. Он ценит тюрьму, ведь она дает мыслящему человеку неограниченное время для размышлений, для погружения в себя, для познания самого себя. Словом, но Кубенину выходило: тюрьма — не беда и несчастье, тюрьма — благо. Слушая его, я думал, уж не псих ли он.

— Я вам скажу, Митя, одну истину. Она должна повысить ваше настроение. Настоящий мужчина должен непременно посидеть в тюрьме за свои убеждения. Декабристы сидели в крепости и острогах, социал-демократы и большевики таскали кандалы по всем дорогам Сибири. И нам не след обижаться на власть за ее строгость. Власть всегда наказывает, когда ей сопротивляются, мешают. У нас люди привыкли не выказывать свои истинные убеждения, терпят молча. Поэтому в наше время личности, противопоставляющие себя диктатуре, заслуживают особого уважения. Чудачок, ваши друзья и сверстники будут вами гордиться.

Страшно было слушать Кубенина. Пес его знает, что бубнит этот потомок декабристов! За дурачка меня считает, что ли?

— Мои убеждения обыкновенные, я комсомолец. Мне за них не надо сидеть в тюрьме,— примерно так отвечал я Кубенину.

Он, скорее всего, не расслышал моих слов, но понял ответ по глазам.

— Фактом своего пребывания в этом казенном доме вы опровергаете свои слова.

Вот и спорь теперь с ним, с тоской и досадой думал я. Ну, к чему мне этот глухой тип с его философией? Я хочу на свой завод, к своим ребятам, в свой институт!

В камере мало кто верил, что выйдет на свободу. Я не понимал их неверия. Может быть, они знали за собой вину и только говорили о невинности? Кого они обманывали, зачем? Может быть, они все-таки верили, но старались этого не показать?

Сам я верил и всем говорил: завтра меня выпустят. И оттого, что я верил, оттого, что был юным, самым юным в камере, они не возражали (не верил один Кубенин, он один возражал, твердил свое). Обычно обо-зленные, замкнутые и грубые, ко мне арестанты относились мягко и сочувственно, даже с симпатией (или мне это казалось?). Возникло нечто вроде игры, по-долгу обсуждалось, как и при каких обстоятельствах меня выпустят.

Знатоки юрисдикции учили:

— Главное, не подписывай допрос, бойся ловушки, следователю нужна только твоя подпись, ему оправдания не нужны.

Я отказывался подписывать и без подсказки. Следователь, грузный, здоровенный пучеглазый человек со шпалами на петлицах, предлагал подписать такую чепуху, что ее и невозможно было подписать. Он и уговаривал, и грозил, и размахивал руками. Он очень торопился, и его раздражали мои возражения.

— Подпишите протокол, и все кончим,— говорил он.— Наболтали глупостей, так уж признавайтесь.

— Как же признать то, чего не было?

— Зря упрямитесь. Мы понимаем, это не ваше, враги вас научили. Вот и скажите, кто. Отец, да? Мы ведь знаем все...

Я не мог разрешить этому человеку упоминать отца, говорить о нем плохо. При чем здесь отец?

— Не трогайте отца, не смейте так говорить о нем!— кричал я.

Пучеглазый бесился, грозил упрятать меня в карцер.

— Мальчишка, глупый мальчишка!— кричал следователь.— Если признаешься, мы подержим тебя для острстки и отпустим. Будешь упираться, окончательно убедимся, что ты человек вредный.

— Поймите, я ни в чем не виноват! Клянусь родной матерью!

— Клянешься матерью, а сам ее не жалеешь. Она

совсем плохая стала. Считай, убил ты ее, нанес такой удар.

Я не мог слышать, как он говорит про мою мать. Я ее убил!

— Это вы нанесли ей удар!

Опять он бегал по кабинету и угрожал карцером.

— Вот что, Промыслов. Вам остается только признаться. Вы и сейчас мне наговорили вещи, за которые у нас дают срок. Подписывайте протокол и уходите.

Я возвращался с допроса, меня плотно обступали и требовали рассказа с подробностями, затем началось обсуждение.

— Злитесь сыщик, значит, у него ничего серьезно. Выпустит. Что он возьмет с огольца?

— Взять-то с него нечего, но не любят они выпустить. Этот со шпалами вполне может пришить дело за здорово живешь.

— Только посмотри, кому шить-то. Парнишка прозрачный, весь насквозь виден. Зачем он пучеглазому?

И снова мне внушали:

— Только не подписывай протокол.

Подписывать ничего не пришлось. К следователю меня водили еще дважды и больше не вызывали. Мои товарищи по несчастью посчитали это за благоприятный признак.

— Отступил он от тебя. Теперь подержат немного для порядка и отпустят. Ты верь нашему опыту, мы теперь мудрые.

Получилось по-иному, мудрые просчитались. Долго не тревожили меня, очень долго, целые две недели, и вдруг вызывают. Камера оживилась:

— Вот и все. Какую твоей тюрьме, Митя.

— Готовьте, ребята, адреса и весточки на волю, Митя всех уважит.

Шел я длинными коридорами, счастливо думая: прощай, тюрьма, казенный дом, прощай. Ввели в кабинет. Сидит важный дядя с ромбом на петлице, предлагает ознакомиться с коротенькой бумажкой. «Особое совещание НКВД. Постановление по делу Промыслова Д. М. За антисоветскую пропаганду приговорить к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере».

Все как во сне: прочел, что-то сказал. Дядя с ром-

бами попросил расписаться, я помотал головой, отказался.

— Как хотите, обойдемся без автографа, только пометим: отказался.

Не помню, как шел обратно теми же коридорами, мимо бесчисленных железных черных дверей. Вернулся в камеру. Мудрые, с опытом, вы просчитались.

Никто из них ничего не спросил, увидели по лицу: парнишку осудили, готов. Горя каждому хватает своего, но тут по камере прошел вздох.

— Мальчишку и то не пожалели.

Камера затихла, приуныла. Мой случай примеряли, наверное, к себе: если ему три года, что ждет меня?

Кубенин подсел, обнял, заговорил — похоже, он был доволен.

— Видите, Митя, я оказался прав. Другого не могло быть. Ураган озлобления идет по стране, он ведет счет тысячами, большими тысячами, отдельный человек роли не играет, и для него исключения не делают. Вы не горюйте, три года — пустяки. Пролетят, и вы быстренько вернетесь, как Овод, только Овод, помнится, исчезал на целых десять лет.

Я стиснул зубы, попросил его замолчать, отстать от меня. Но Кубенин продолжал, он ведь еще не высказался:

— Вернетесь в ореоле героя, девушки будут сходить с ума. Вернетесь умным, хитрым, мудрым, как Овод. Имейте в виду: тюрьма — лучшая школа. Как Овод, вы будете мстить. Вы хорошо узнаете, что такое месть за страдания.

— Перестаньте! — заорал я, вскакивая и весь дрожа. — Перестаньте, вы, подлая контра!

— Пожалуйста, перестану, — согласился он. — Я вас жалею, чудак, учу уму-разуму. Вы пока глупенький. На таких воду возят. А насчет контры, так я еще не осужденный, я просто подследственный. А вы уже... официальная, так сказать, контра.

Не сразу я понял ужас этого злого упрека, высказанного с улыбкой. Упрека, от которого сразу начинаешь задыхаться. Упрека, на который не знаешь, чем отвечать. Да, ты арестант, потом осужденный, потом заключенный в лагере. И тебе нечего сказать в ответ.

— Митя, слушай сюда!

Надо мной стоял староста Иван Павлович. Он сказал Кубенину «Уйди к черту!» и подсел ко мне. В руке у него был стакан, в другой маленький кусочек круто посоленного хлеба.

— Выпей.

— Не надо, не хочу.

— Пей, это водка, она успокаивает. И ложись, усни. Утро вечера мудренее.

ДЕНЬ НА ПЕРЕСЫЛКЕ

Вдруг пуля просвистела
и товарищ мой утих.
Я вырыл ему яму,
он в яму не ползёт...

Ой-ёй-ёй, товарищ мой утих.
Ой-ёй-ёй, он в яму не ползёт...

Я вырыл ему яму,
он в яму не ползёт...
Я двинул ему в ухо,
он сдачи не даёт.

Ой-ёй-ёй, он в яму не ползёт.
Ой-ёй-ёй, он сдачи не даёт...

Нелепая эта песня чаще других раздается в камере. С визгом и лихим свистом она звучит в ушах даже тогда, когда самые отъявленные певцы спят или заняты каким-нибудь другим делом.

Я плюнул ему в морду —
он обратно не плюёт.
Я глянул ему в очи —
приятель мой помер.

Ой-ёй-ёй, приятель мой помер...
Ой-ёй-ёй, приятель мой помер..

Отчаянный вопль «Ой-ёй-ёй» почти помогает, так хочется самому взвыть от тоски и отчаяния. Ловишь себя на том, что губы повторяют: «Ой-ёй-ёй, Митя, ты помер... Ой-ёй-ёй».

Я уже не в Бутырках, я в пересыльной тюрьме. Здесь собирают тех, чья судьба определилась, кому объявлен приговор. В течение нескольких суток будут

подбирать этап — целый поезд для путешествия в места отдаленные, для отправки в исправительно-трудовые лагеря.

Пересылка не лучше и не хуже Бутырок. Такая же камера, вонючая параша, сплошные нары (только здесь они в два этажа).

Чем-то все-таки эта тюрьма отличается от прежней. Чем? Не сразу поймешь — разница в настроении людей. В Бутырках они при всей разговорчивости насторожены и тщательно следят за собой, боясь чем-нибудь навредить себе, своему «делу». Здесь бояться уже нечего. Приговор объявлен, бояться нечего, хуже не будет. Здесь людей уже ничто не сдерживает, они похожи на пьяных крайней возбужденностью, странным и страшным оживлением, откровенностью объяснений. Исключение составляют «чокнутые»: так называют людей, закаменевших на грани потери рассудка.

Впрочем, блатные — их на пересылке десятка два — пьяные в самом деле. Им ухитряются с воли передавать спиртное. Существует особый способ (его в тюрьме, говорят, не знает только администрация). Спирт в передачах выглядит вполне безобидно — это обыкновенные яйца. Через крохотные проколы скорлупы из яйца выдувается содержимое, потом пустое яичко погружают в спирт и он заполняет пустоту через дырочки, которые после этого затирают парафином. Чем не химия?

Один из блатных ищет меня по всей камере — мы знакомы по Бутыркам. Он зовет в свою компанию, обещает угостить спиртягой.

Меня передергивает: я вспоминаю угощение старости — первый в моей жизни стакан водки, вывернувший меня наизнанку.

— Не хочу.

— Не будь фраером, кореша хотят послушать стихи.

— Маяковского? — нарочно спрашиваю я.

— Не бери на бога! — смеется парень. — Маяковского твоего пусть партийные слушают. Я уркам сказал, что ты фартово декламируешь «Письмо матери». Вставай.

Я встаю, иду к блатным, читаю стихи. Долго они слушать не могут.

— Садись и пей,— приказывает мне их пахан, красномордый верзила.

— Я не пью.

— Не пьешь — теряй наш адрес. С трезвыми мы не калякаем.

Я с удовольствием ухожу, за спиной взрывается:

В жизни живем мы только раз,
когда монета есть у нас.

Думать не годится,
завтра что случится.

В жизни живем мы только раз.

Песни, похожие на вопли, и вой встретившихся на пересылке однодельцев, их надрывное объединившееся горе или запоздалый яростный счет, в котором горько и бесполезно выясняется, кто кого оговорил, кто кого посадил. Факт остается фактом: сидят и тот и другой.

На пересылке очутился и мой бутырский знакомый Кубенин. Ему объявили приговор вслед за мной, напрасным было его злорадство («А вы уже...»). Сейчас я вижу бывшего соседа, беседующего, как видно, со своими друзьями по делу. Один из них — длинный очкарик с толстыми губами; другой — широкоплеч и чуть сутуловат, у него задумчивое и грустное лицо. О чем они беседуют? Впрочем, говорит, разумеется, Кубенин.

Совсем неправдоподобно на моих глазах меняется обстановка: широкоплечий вдруг сильно размахивается, Кубенин тяжело шмякается на каменный пол.

У очкарика отвисает толстая нижняя губа, он всплескивает руками и убегает оглядываясь. Широкоплечий спокойно стоит над поверженным Кубениным.

Окружающие реагируют на короткий поединок одобрительно:

— Выдал по первому разряду!

— Так и надо суке! Не продавай!

Никто и не думает прийти на помощь распростертому Кубенину — все нормально, состоялась справедливая расплата. Я не выдерживаю. Все-таки пострадавший вроде мой знакомый. Широкоплечий встречает меня внимательным взглядом.

— Проверили бы пульс у человека,— советую я.

— У человека я бы проверил,— отвечает он.

— Что же вы над ним стоите?

— Хочу понять, притворяется или в самом деле потерял сознание.

— А за что вы его?

— Еще не так надо бы! Знакомы с ним?

— Да. Сосед по камере в Бутырках.

— Ну, раз такое дело, помогите.

Мы берем обмякшего и грузного Кубенина за руки и за ноги и под смех окружающих перетаскиваем на нары. За этим занятием возникает на долгие годы вперед мое знакомство с Володей, с Владимиром Алексеевичем Савеловым. Возвращается очкарик, я знакомлюсь и с ним — он архитектор, зовут Юрий Петрович. Втроем мы энергично действуем: брызжем водой, шлепаем пострадавшего по щекам, архитектор обтирает вымазанное кровью лицо мокрым платком. Едва Кубенин открывает свои томные глаза, мы дружно его покидаем. Вслед нам глухой бормочет:

— Хулиганье! Сухаревская шпана!

Опять заныли, завыли, застонали блатные — новый романс. Они ведут себя мирно, никого не обижают. Сидят тесным кружком на каких-то подстилках «аристократы», остальные свисают с верхних нар, стоят либо лежат прямо на полу. Тюремный романс закончен, урки вспоминают про выпивку и еду, разложенную на газете. И разговаривают на своем нечеловеческом языке:

— Медведя вспорол, рыжие и косые отобрал, остальные обмочил.

— Звездохвата повязали на мокром, дали диканьку. Чума ссучился, получил перо в бок.

— Не в бок... Монька Ювелир бьет прямо в орла, на чистуху!

— Пришел на бан, гляжу, два чурбана лежат. Начинаю катать. Катал, катал, накатал одно недоразумение.

Снова поют. Их пение бьет по нервам, его трудно перенести, столько в нем ярого чувства, надрызвной силы, остервенения.

Сразу по окончании романса из кружка гулящих урок выскакивает парень и с пронзительным тонким воплем бешено рвет на себя одежду. За ним — второй. И третий.

— Цирк с фейерверком, — сказал Володя Савелов. Я глазел. Такого еще не приходилось видеть. Ущип-

нув складку на животе, урка изо всех сил старается отрезать самодельной бритвой кусок собственного тела. Два других не отстают от него: один полосует крест-накрест грудь, второй втыкает в руку нож и выдергивает, втыкает и выдергивает. Остальные жулики им не мешают, смотрят и воют. Все как во сне.

Минуты две-три, и окровавленные урки валяются на полу. Кто-то громыкает в дверь. Будто предупрежденные заранее, в камеру влетают с носилками санитары в белых халатах. Окровавленных уносят. Надрывные вопли мгновенно прекращаются. Блатные возвращаются к игре в карты.

Потрясенный, я пытаюсь получить объяснение у Володи:

— Что это было?

— Этим трем пахан приказал отстать от ближайшего этапа.

— Зачем отстать?

— Зачем, не знаю. Да и не все ли вам равно? Они должны остаться в Москве. Вот и устроили себе маленькое кровопускание.

— Ничего себе маленькое — кровяца так и хлестала!

— Картина яркая, она безотказно действует и на тюремную администрацию. Но, уверяю вас, ничего опасного.

— Откуда вы знаете их нравы?

— Знаю. В тюрьме нагляделся. Ерунда!

Мой расстроенный вид рассмешил Володю. Он обнимает меня за плечи.

— Все-таки надо ложиться спать. Вы где устроились? Давайте вместе.

Обрадованный, я переносу свои нехитрые пожитки и втискиваюсь между новыми знакомыми.

Все затихло, даже блатные спят. Храп и хрип, вздохи, стоны и восклицания во сне. Я не могу заснуть, гляжу на тусклую лампочку на потолке. Вокруг нее нимб, маленькая жалкая тюремная радуга. Испарения и вздохи создают «эффект интерференции света» (вот когда пригодились отличные отметки по физике!).

Я вдруг оказываюсь на Сретенке. Бегу, сейчас будет родной Сухаревский переулочек. Только поскорее! А почему, собственно, скорее? Да ведь это не наяву.

Спать бы подольше и видеть Сретенку, мой переулок. Не просыпаться бы подольше, хотя бы до грохота железных дверей и крика надзирателя: «Подъем! Поверка!»

Вместо проверки случается нечто более страшное. Кто-то похлопывает меня по спине. Я отчетливо чувствую раз, другой, много раз: шлеп-шлеп-шлеп! Никак не могу проснуться. Неужели вызывают с вещами?

Вскакиваю с сильно бьющимся сердцем и вижу, меня разбудил однодевец Володи — толстогубый архитектор.

С ним что-то стряслось: ноги и руки раскинуты и дергаются (это он шлепал меня рукой по спине), зубы оскалены, глаза закатились, изо рта бьет пена. Володя, едва очнувшись со сна, кидается к нему на помощь: прижимает его к нарам, держит руки.

Камера проснулась и встревожена. Кто-то кричит Володе:

— Не держите его за руки, не держите! Не мешайте!

Володя с ужасом смотрит на дергающиеся руки и ноги, на чужое оскаленное лицо.

— Раньше с ним этого не было?— спрашиваю я.

— Никогда не видел. Первый раз,— растерянно отвечает он.

— Пляска святого Витта!— объясняет кто-то.

— Типичная эпилепсия,— наставительно уточняет Кубенин, он тоже оказался здесь.— Юра скрывал от нас свою болезнь.

— Плясал бы дома. Нашел место для танцев!— смеется камера.

Снова влетают санитары с носилками. Юру уносят. Кубенин уходит на место.

Мы с Володей топчемся некоторое время, потом укладываемся.

— Вот и наплясал. Поди освободят теперь, он же вроде ненормального.— Камера завидует припадочно-му и недоверчиво спрашивает у нас: — Он в самом деле эпилептик или притворился? Вы сговорились, ребята, или он индивидуально все придумал?

Мы молчим. Нет слов и нет сил, чтобы ответить. Я ложусь лицом вниз на руки, чтобы ничего больше не видеть. В глазах все повторяется опять и опять: шмякается на пол почтенный Кубенин, урка бритвой

полосует собственный живот, архитектор с оскаленными зубами дергается, словно картонная фигурка на ниточках.

МОСКВА, ТЫ РЯДОМ!

Долгая стоянка этапа на окружной дороге. Уж лучше ехать, вздыхают кругом. А я думаю: хорошо, что стоим. Окружная — это ведь окружная Москвы, это почти Москва, моя Москва, где я жил с рождения, всю жизнь, все свои почти девятнадцать лет. Где жили с рождения мой отец и мать.

Москва, ты рядом, за полчаса я добежал бы до своего переулка на Сретенке, до своего дома. Нет... не добежишь до своего дома, не добежишь... Не пустит решетка, не пустят эти серьезные ребята с винтовками. «Хоть мне хочется на волю, цепь порвать я не могу».

Впервые я понял: самое дорогое ценишь по-настоящему только тогда, когда вдруг его теряешь. Разве ты ценил, Митя, жизнь в Москве, на Сретенке? Улица узкая и дом старый, пора на слом. Разве не тянуло тебя отсюда? Разве не говорил друзьям, что с удовольствием уехал бы, что тесно тебе здесь?

Теперь ты дорожишь Сретенкой и старым домом, где жил. И сердце сжимается, когда вспоминаешь узенькую, всегда переполненную людьми улицу с дзинькающим трамваем посредине.

Как хорошо, что наши тюремные вагоны еще здесь. Они на Окружной уже сутки, двое суток, и я молю: пусть они побудут еще хотя бы денек.

Все время, пока стоит здесь этап, во мне живет надежда: не даром, Митя, нет, не даром стоим мы так долго! Мы ждем кого-то. Кого? Просто подтягивают вагоны с людьми, один к одному, составляют этап. Нет, должны прийти люди из прокуратуры и объявить: такой-то и такой-то, выходите с вещами!

И должны прийти мать и отец. Они наконец узнают, что этап отправляется, и придут повидаться. Может прибежать Маша. Она тоже узнает про этап и поторопится прийти. Отец наверняка уже приехал, мать его разыскала и вызвала. Все они — Маша, мать и отец — придут, и я им скажу: родные мои, я ни в чем не виноват, не думайте обо мне плохо. Ты, отец,

если можешь, похлопочи за меня. Ведь это безобразие: ни за что схватили человека, посадили в тюрьму и теперь везут куда-то. Имей в виду, кстати, отец: следователь делал гнусные намеки—мол, ты мне внушал вредные мысли. Это ты-то?! Отец, не прощай клеветы, потребуй ответа. Вообще действуй. Если будешь быстро действовать, то успеешь вызволить меня из этапа. Мы стоим двое суток и простои́м, очевидно, еще сутки.

И верно: вагоны стоят еще сутки. И еще сутки они стоят. Но люди из прокуратуры не появляются, не слышно радостной команды: такой-то, с вещами на волю! И никто не приходит на свидание: ни мать, ни отец, ни Маша. Они попросту не знают, что я их жду на Окружной.

Наши вагоны запряты в тупике, ничего не видно, кроме складов и редких, занятых делом людей, проходящих мимо с опущенными глазами (или нам только так кажется, что с опущенными?). А я не вижу ни глаз, ни самих людей, идущих мимо. Я лежу рядом с Володей на нижних нарах. О тупике, где мы стоим, о складах, об идущих мимо людях мы знаем со слов счастливчиков, которые лежат на втором этаже.

Видел ли я дома сны? Кажется, не видел. Так мало оставалось времени для сна, я проваливался в яму и утром вылезал из нее, вот и все. Зато здесь я вижу множество снов, ярких и жгучих.

О, эти сны в тюрьме! Постепенно можно привыкнуть ко всему, даже к страшному быту тюрьмы. Но к снам привыкнуть невозможно. Они мучают и терзают — с ними приходит самое дорогое, то, что ты потерял. Свобода, отчий дом, товарищи, работа — все это было в твоей жизни, было, а теперь повторяется, чтобы, мелькнув и снова исчезнув, еще больше растравить чувство утраты.

...Я слышу голос отца, он рассказывает что-то маме. Так уж у нас заведено: воскресенье мы проводим вместе. Отец не идет в свой Моссовет, а я не встречаюсь с ребятами и даже с Машей. «Ты слышишь, Митя?— говорит он.— Глазную больницу на улице Горького решено не ломать, этот зеленый дом ока-

зался памятником архитектуры». — «Ну и как же теперь быть?» — спрашивает мама, и я вижу ее бледное лицо с грустными глазами. «Не трогая больных, дом будут целиком передвигать на новое место». Отец подходит ко мне, тяжелой рукой неловко гладит по голове. «Трудно тебе работать и учиться, — вздыхает он. — Но завод бросать нельзя». Надо бы успокоить его — ничего, не так уж трудно, а он уже сидит рядом с мамой, читает вслух толстую книгу. Я вижу, как шевелятся губы отца, и не слышу слов. Мне хочется подойти к ним, так здорово, что они вместе, хочется что-то им сказать — и все исчезает...

...Мы с Машей шагаем по Петровке, снег искрится на мостовой. У меня в руке коньки, значит, мы идем на каток. Почему-то оказываемся на лестнице... Да, идем к ней домой, я не очень доволен: не люблю ее отца, почему он всегда разговаривает со мной, как с ребенком, насмешливо и снисходительно? Рядом Маша, я чувствую ее теплое дыхание, слышу шепот: «Не бойся, его нету дома. Слушай, надо же в институт, — вспоминает Маша. — Сегодня у нас лекция Мейерхольда». Бежим вниз по лестнице, куда-то девались коньки, я держу Машу под руку, она хохочет. Ура, мы успели! Мейерхольда я не вижу, слышу только его голос. Машины глаза смеются, она укоризненно качает головой. «Отвернись от меня, смотри на лектора». Мне очень хорошо сейчас, приятно — наверное, это и есть счастье? И словно электрическим током ударяет мысль: Митя, это сон, сейчас он оборвется...

...Тихо. Ночная смена. Цех больших автоклавов. Черные округлые аппараты мирно посапывают, стоя на толстых лапах. Сажу один, клонит ко сну. Кто-то приходит, гулко топая по цементному полу. Мой друг Боря Ларичев, он очень грустный, молчит. Я знаю, о чем он думает: «Самое страшное, когда не можешь помочь другому человеку!» У него беда — у Лены открылся процесс в легких. Но ведь Пряхин обещал помочь, его препарат уже пробуют на больных в клинике! Я ничего не успеваю сказать Боре, его уже нет рядом.

— Где ты живешь, Митя? — спрашивает Володя. Он все-таки услышал мои приглушенные вздохи.

— На Сретенке. Ты знаешь, где находится Сре-

тенка? Она выходит к Сухаревой башне. Только башню теперь сломали.

— Я знаю Сретенку,— отвечает Володя.— У меня знакомый жил в том районе, возле «Форума». Впрочем, ты моего знакомого знаешь: это Кубенин. И я часто бывал на Сретенке.

— А у меня там девчонка знакомая живет,— говорит Коля Бакин, он пришел и растянулся возле меня слева.

— Смотри-ка!— удивляюсь я.— И мы никогда не встречались!

— Лучше бы ходить нам и не встречаться, чем тут встретиться!— мудро замечает Коля.

— А ты где живешь, Володя?— спрашиваю я.

— Я жил на Таганке.— Володя слегка подчеркивает слово «жил».— По соседству с пересыльной тюрьмой. Моя Надежда потому и поспела с продуктами, что это рядом. Несколько раз в день бегала к тюрьме и следила за списками.

— Молодец твоя Надежда. Пока жива Надежда— жива твоя надежда!— Володя не поддержал моего каламбура, а я подумал: мама моя бедная лежит, она не может бегать к тюрьме и следить за списками.

— Когда вернемся, будем ходить друг к другу в гости,— заверил Коля.— Мы с Митей женимся, нас будет три пары.

— Это называется дружить домами,— тихо объясняет Володя и спрашивает у Коли:— Где твой дом в Москве?

— В Ветошном переулке, на Никольской, рядом с Красной площадью, с Кремлем,— с гордостью докладывает Коля.— Когда-то мама работала уборщицей в музее Ленина и ей дали комнату в доме неподалеку.— После паузы Коля неожиданно заключает:— Меня и посадили за то, что я жил рядом с Кремлем.

Заявление Коли Бакина странно и нелепо, мы с Володей дружно протестуем:

— Ну и дурак ты, Николай!

— Это вы два дурака!— рассердился Коля.— Ни черта не соображаете, караси-идеалисты! Я сам никогда бы не додумался, если б знающие люди не подсказали. «Ты озорник и ненадежный малый, тебя надо было убрать. А то выкинешь номер во время демонстрации».

— Ну и ну!— удивился Володя.— Не слушал бы ты, Николай, всяких болтунов, знающих трепачей.

— А ну вас к чертям собачьим!— вовсе рассердился Коля и вдруг затынул отчаянно и крикливо:

Скажи, кудрявая красotka:
за что везут тебя в Бамлаг?
На вид ты ловкая плутовка,
а все ж попался впросак.

Коля делает паузу, ждет, подтянут ли его новые друзья. Те, разумеется, подтягивают.

Допев, вернее, докричав романс, Коля Бакин лежит еще несколько минут. Очевидно, ему хочется что-то нам сказать. Так ничего и не сказав, он уходит наверх.

— Обиделся,— говорю я.

— Спутался с урками,— озабочен Володя.

Мы слышим, как наш друг звонко кричит через тюремное окошко часовому:

— Эй, Ванька со свечкой, гляди сюда! Когда поедем-то? Надоело, понимаешь. Мы не согласны терять время, мы жаждем работать. Слышишь, простофиля? Нам пора начать перековываться.

ВОТ И ПОЕХАЛИ!

— Ну, узнал станцию? Куда едем?

— Ярославская дорога, наверное.

— Почему Ярославская? Могут отправить и по Октябрьской. На север, в Воркуту.

— Дай мне поглазеть. Я узнаю, если Ярославская.

— Кончились дачные платформы, теперь жди, когда проедем солидную станцию.

— Смотри внимательнее, не пропусти название!

— Загорск! Точно прочел: Загорск.

— Значит, на Восток едем. Путь самый длинный.

Вот и поехали. Куда едем? На Восток? А не все ли равно, если от Москвы? Наш путь в никуда. Сколько мы едем, час или сутки? Или неделю? Какая разница? Мы едем на долгие годы.

Внизу под нами, под нарами и под обитым железом полом кружатся и кружатся, чуть скрежеща и позванивая, неутомимые вагонные колеса. Что они стачивают так неустанно, неутомимо, с жестким скре-

жетом и тонким комариным звоном? Наше время? У нас его сколько угодно. Или наше терпение? Есть оно у нас, Володя? Ты часто повторяешь: терпение, ребята, терпение.

В ответ на мои рассуждения Володя смеется:

— У меня впечатления более примитивные — колеса стачивают наши задницы.

Шуткой Володя старается прогнать тоску и отчаяние. Хорошо, что ты лежишь рядом, Володя. Мне повезло, что именно ты встретился в страшный час и на страшной дороге.

— Говоришь, не все ли равно, куда едем, не все ли равно, сколько километров проехали. А я предлагаю записывать все станции.

— Зачем?

— Интересно ведь, чудак. Ты мне сам сказал: дальше деревни Поповки нигде не был.

И по предложению Володи мы на всю долгую дорогу затеваем игру. Кто-то разглядел название промелькнувшей станции: Берендеево. Потом высмотрели цифру на путевом столбе: 111 километров. С этого началась запись. На другой день узнали новое название — Путятино. Кому-то станция была знакомой, он объяснил: это сразу за Ярославлем, около трехсот километров.

— Вот видишь, Митя, можно отлично знакомиться с географией страны,— серьезно сказал Володя и аккуратно записал название и километры. Ах, Володя, как длинен оказался наш список!

— Володя, за что же тебя?— спрашиваю я неожиданно для себя.— Только не сердись, не хочешь — не отвечай. Промолчи.

— Я не сержусь, Митя,— говорит Володя, и я жалею, что мне почти не видно лица товарища.— Сердиться могу только на себя. А посадили за то, что слушал одного комнатного философа. Он был твоим соседом, и ты можешь представить его болтовню.

— Но ведь болтал он. Его и посадили. Ты-то при чем?

— Он болтал, я слушал. Слушал и не донес.

— Что значит «не донес»? Не понимаю.

— И я не понимаю. Однако в обвинительном заключении у меня так и записано: «за недонесение» или за недонос, словами следователя. Есть якобы та-

кая статья в законе. Следователь разъяснил: «...при вас вели вражескую пропаганду, и вы обязаны были сообщить об этом. Молчанием своим вы прикрыли врага». Я сказал: «Врагом его не считаю. Он просто самовлюбленный обыватель». Следователь обрадовался: «Ага! Вы хотите усыпить нашу бдительность!» Я говорю ему: «Не хочу я вас усыплять, действительно считаю его болтуном». А он гнет свое, поворачивает туда, куда ему нужно: «Если вы не считаете его врагом, значит, разделяете его убеждения. Недаром Кубенин доказывает: «Юноши меня обожают, я для них духовный наставник».

— Вы и в самом деле обожали?

— Какое там! Вначале-то он произвел впечатление, его разглагольствования показались занятными. Потом надоели. И я перестал к нему ходить. Вообще мы с Юркой терпели его из вежливости, а он, чертова глухня, зачислил нас в ученики. Тоже мне Платон! Следователь все сумел использовать: «Ваш учитель Кубенин выгораживает вас. Но мы тоже не дураки, мы его план разгадали: он хочет оставить своих помощников на воле для антисоветской работы». Он спектакли играет, мученика изображает, страдальца за идею, а следователю только это и нужно.

— Извини меня, однако следователь ваш, кажется, был прав. Кубенин — сукин сын.

— Тогда, значит, мне и Юрке не зря срок достался.— Володя сделал этот вывод очень грустно и с обидой.— Выходит, по-твоему, мы должны были донести на глухого?

Я не сумел ответить, сказал какую-то ерунду. Дал плюху, мол, и черт с ним, забудь. Мне показалось, Володя засмеялся. Возможно, засмеялся кто-то из наших соседей. Или вздохнул во сне.

— От моей плюхи он давно уже отряхнулся,— вздохнул Володя.— Зато я буду теперь отряхиваться целых три года. И буду вспоминать своего следователя и тех, кто вроде него фабрикует врагов из честных людей. Эх, Митя, есть еще главная сволочь, которой от меня лично причитается.

— О ком ты?— спрашиваю, догадываясь об ответе.

— О мерзавце, который стукнул про трепотню нашего Платона и про нас, дурачков, развесивших уши.

С каким удовольствием я посчитался бы с ним! Однако он недосыгаем.

— Почему недосыгаем?

— А как до него дотянешься? Он на воле, я в тюрьме.

— Кто он такой?

— Один техник, молодой да ранний. Следователь доказывал, что этот ранний — настоящий коммунист и настроил про нас, желая помочь органам. На очной ставке я ему, идейному, сказал: сейчас ты гадина наполовину, а скоро будешь полной гадиной.

...Я не знал, что и думать обо всем этом. В Бутырках, на пересылке и здесь, в вагонзаке, особенно много и страстно, с неукротимой ненавистью говорят о стукачах. Идейное желание помочь органам? Но тайный донос на товарища, на соседа — разве можно чем-нибудь оправдать такую низость? К тому же, все говорят, часто они действуют из ненависти к людям, стоящим на их дороге, из-за лютой зависти к тем, кто сильнее, умнее, талантливее. Они стучат порой просто из-за квартиры: хочется иметь хорошую квартиру, такую, как у соседа.

В камере обычные рассказы про следователей, которые прямо-таки выходят из себя, когда при них ругают доносителей, горячо их защищают: мол, эти люди поступают из благородных соображений.

Пострадавшие утверждают: стукачи якобы состоят на службе, за свою работу даже получают деньги. Возможно такое сочетание благородных порывов с самой заурядной корыстью?

...Я жду от Володи вопроса — мучительного вопроса, мучительного потому, что у меня нет на него ответа.

— Митя, за что тебя-то сунули сюда? Кто стукнул? — спросил не Володя, а Мякишев. У него хриплый, простуженный и прокуренный голос. Он лежит у холодной, заиндевевшей стенки вагона, часто курит махорку, и от него волнами приплывает крепкий вкусный дым. Вот и сейчас хлынула терпкая махорочная волна.

— Я не знаю, за что. Не знаю, кто стукнул. — Чувствую, какой у меня почему-то виноватый голос. — Некому на меня доносить.

Соседи единодушно удивляются моей наивности.

— Так не бывает, без стука. Со стука начинается беда,— уверяет Мякишев.— Сам подумай: ну, откуда органы узнали про тебя?

— Кто-то донес на тебя. И ты подумай: кому из товарищей ты помешал, стал поперек дороги?

— Может, в квартире кто-нибудь злой был на тебя или на родителей?

— Среди друзей подлецов не было,— отвечаю я смеюсь. Это же смешно — предполагать, будто Боря Ларичев или Ваня Ревнов могут оклеветать меня.— В квартире живут еще хорошие, добрые старики.

— Вспомни, что говорил и что делал. Сопоставь с обвинениями следователя. Ведь предъявил же он тебе обвинения?

— Предъявил вздор и чепуху!

— Милый мой, из чепухи он сделал тебе срок. Конечно, сейчас уж ничего не поправишь. Но знать своего врага надо. Ты подумай, время у тебя есть. Ищи его среди шибко идейных.

— А мой совет тебе, ищи его среди ласковых и добреньких. Мы частенько хороших за плохих принимаем, плохих за хороших. Хороший нередко бывает сердитый и некрасивый. Ему незачем притворяться. Зато плохому надо обязательно выглядеть симпатичным, иначе ему никого не обмануть.

— Зачем притворяться, зачем надо обманывать?

— Зачем, не знаю. Но ведь обманул? И ты не знаешь, кто?

Я посмеивался и недоумевал, слушая догадки и советы товарищей по несчастью. Не было, ну не было у меня врагов и недругов!

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: МОИ ТОВАРИЩИ ПО НЕСЧАСТЬЮ!

Я начал рассказывать жене свою историю ночью. Ее напугал отчаянный вопль в темноте.

— Ты не только сегодня, ты часто кричишь во сне. Сначала я слышу и ужасаюсь, потом бужу. Хочется поскорее тебе помочь! Ты смотришь дикими, чужими глазами. И я знаю: тебе приснилось то далекое...

О, этот рассказ среди ночи. Сбивчивый и бестол-

ковый, как продолжение дурного тоскливого сна. Хорошо, что он прервался энергичным стуком в дверь.

К нам стучались сыновья Володя и Вася. Оказывается, уже наступило утро. Они всегда, проснувшись, первым делом прибегают к нам.

Сейчас ребята стоят за дверью, не могут понять, почему их не пускают.

— Милые, к нам нельзя,— глухо говорит жена.

— Почему нельзя?— удивляются мальчики. Они решают, что мы затеяли с ними какую-то новую игру. Счастливые, все время играют.

— Пусти их!— прошу я. Не терпится скорее увидеть детей.

Они с разбегу ныряют в постель справа и слева от меня. Какие горячие у них руки и щечки! Мне сразу становится легче, спасибо вам, родные.

Ребята, однако, замечают: мать и отец невеселые, не поддерживают шуток, не смеются. Разве им расскажешь про ночные кошмары, о том, что мы никак не можем выбраться из тюремного вагона.

Зачем я совершаю вновь это долгое и мучительное путешествие? Не знаю, не знаю. Возможно, затем, чтобы освободиться от груза, слишком долго я нес его в себе. Моя недавняя тяжкая болезнь, убежден, вызвана этими многолетними терзаниями. Я едва выкарабкался тогда, история могла умереть со мной. Жена и сыновья узнали бы ее из чужих уст. О, я знаю, какими злыми и несправедливыми могут быть чужие уста!

И настойчивость жены неспроста. Ведь она знает немного, только факт: мол, когда-то сидел. И все. Пусть она и потом дети от меня самого узнают об этом. В моей горькой истории все честно. Вот только сумеет рассказать, сумеет подавить жалость к себе. Я не хочу, не хочу, чтобы меня жалели, я просто хочу, чтобы мои близкие знали все о моей жизни.

На чем я закончил? Впрочем, совсем не важно, на чем. Поезд наш неумолимо движется. Мы с Володей продолжаем игру в станции и километры. Записали: Свеча — 762 километра, Пибаньшур — 1215, Тулумбасы — 1600. Каждый раз удивляют названия.

— Тулумбасы? Смотри, куда занесло!

— Боже, я по этой дороге дальше Мамонтовки не ездил.

— Ничего, теперь сразу наверстаешь.

Прошло много времени, очень много, но я помню путешествие на край света во всех подробностях. Помню всех обитателей вагона, помню их фамилии и все имена, помню их профессии и статьи уголовного кодекса, их лица и даже их голоса (они слышатся мне, когда я о них думаю). Недавно я сделал поверку одновAGONцев и составил список (я потому и запомнил все накрепко, что каждый день слышал переключку: «Савелов!»— «Я!»— «Петров!»— «Здесь!»— «Мякишев!»—«Тут я!»...). Просматривая свой список, с удивлением обнаружил пропажу одного человека. Может, его и не было? Но я же твердо помню: речь шла о тридцати шести заключенных, на каждой наре девять человек, а нар было четыре.

С кого начать знакомство? Может быть, с соседей по нарам? Вот они, прошу познакомиться.

Мякишев Степан, 57 лет, плотник и ассенизатор, статья 58¹⁰, срок 5 лет; Гамузов Анатолий, 27 лет, врач, статья 58¹⁰, срок 5 лет; Епишин Митрофан, 40 лет, колхозник, статья 58¹⁰, срок 4 года; Ващенко Петр, 33 года, артист, статья 58¹⁰, срок 3 года; Промыслов Дмитрий, 19 лет, рабочий и студент, статья КРА, срок—3 года; Савелов Владимир, 25 лет, инженер, статья КРА, срок 3 года; Фролов Игнат, 20 лет, рабочий, статья 58¹⁰, срок 3 года; Антонов Федор, 20 лет, студент, статья КРА, срок 3 года; Флеров Николай, 26 лет, зубной техник, статья КРА, срок 5 лет.

Мой список с так называемыми объективными данными не лучше любой другой анкеты. Объективные данные на поверку чаще всего не такие уж объективные. На примере Володи Савелова можно убедиться: верить надо самому человеку, не бирке, висящей у него на груди. Верны лишь имя и фамилия, год рождения и профессия. А там, где сказано главное о нем, о его преступлении (контрреволюционная агитация) и сроке наказания, надо бы написать: хороший советский человек.

Кое-какой смысл в моем списке, конечно, есть: я хочу непременно рассказать о каждом и список поможет не забыть ни об одном из обитателей вагона несчастий.

В такт вращению колес под полом, как ручей, не-
смолкаемо журчит беседа. Мякишев говорит, Га-
музов, даже Епишин говорит, зато ближайшие соседи—
молчалники. Очень неразговорчив Володя, и постоян-
но молчит лежащий рядом слева Ващенко. Молчит и
вежливо слушает. Если открывает рот, то для того,
чтобы спеть. Тенор у него приятный, мягкий, сере-
бряный. Украинская мова очень нежна в его устах.

Он высокий и очень худой. В тюрьме быстро сдал.
А был, по его словам, здоровенный. По вечно изъяз-
вленным губам, по бледным деснам наш доктор Га-
музов определил у него дистрофию.

— Слушай, я тебе серьезно говорю, как врач,—
строго заявил Гамузов.— Дистрофию надо лечить не
лекарством. Ее надо лечить витаминами. Масло надо
кушать сливочное, понимаешь? Фрукты кушать. Ка-
каву надо пить каждое утро. Понимаешь?

Кругом все хохотали над рецептом доктора. Пет-
ро грустно улыбался своей тихой славной улыбкой.

— Хорошо, доктор. Я попрошу у нашего конвоя
какавы и фруктов.

Петро—добрый, деликатный, мягкий человек. Ког-
да приносит хлеб и кипяток, иные, вроде того же Га-
музова, суетятся, ловчат быстрее получить. Петро
всегда последний. «Успею. Куда же торопиться?»

Он работал слесарем в мастерских в Полтаве и
пел в хоровом кружке. Его приметил на смотре са-
модейтельности директор оперного театра.

— В один день у меня повысился разряд — из сле-
сарей выдвинули в артисты,— посмеивался над собой
Ващенко.— И напрасно выдвинули. Остался бы сле-
сарем, в тюрьму не угодил бы.

Театр, сцена успели за четыре года навсегда от-
равить его. Петро загорается, когда вспоминает о ре-
петициях в пустом неосвещенном зале, о волнении
перед выходом на сцену, о какофонии в оркестре, на-
страивающем инструменты. Мы с ним особенно со-
шлись на любви к театру. Он расстроился, узнав, что
я учился в театральном институте.

— Хлопчик ты мий мылый, як мени тэбэ жаль.
Чому воно так нэсправедливо?— простонал Петро и
утер слезы.— Хиба нэ Маркс казав: каждый Рафаэль
должен свободно, без помех развивать свий талант?

— Петро, за что тебя, такого славного, забрали?—

спросил Мякишев.— Ведь ты совсем тихий, мухи не обидишь...

— За компанию, дидусь,— кротко ответил Вашенко.— Завел себе слишком много друзив. Ахтеры, художники и журналисты. Воны часто собирались на вечерки дома и в ресторанах. Мэнэ зовут, я иду. Ведь же лестно. Вони пьют и едят, я пью и ем. Воны спэрэчаються, я мовчу, як дивка на вечернице. Потим наступае мий час, воны хлопають и кричат: «Петро, спивай нам трохи песни ридной матэри Украины». Я и спиваю, как вам тэпэр. Воны слезы утирают. Интеллигентни, добри, ласкови люди; мени приемно, шо воны слухають мене, хвалють, аплодуют. А воны ворогами оказались, хорошие те люди, националисты, бис им в ребро. Вот, дидусь, як воно було.

Следователь каже: «Таки-то и таки-то друзи ваши?»—«Трохи есть. Мои добри друзи».—«Ага! Расскажите, як собирались и вели разговоры, шо Украине худо жить под Россией». Я кажу: «Не чув тих промов. Воны ти коньки без меня выкидывали». А вин в ответ: «Эти штучки бросьте. Вы у них за вдохновителя были, они вас соловьем звали». Я же, дидусь, действительно не слыхав вредных разговоров. Колы почиталы мени их промовы, я за голову схопывся. Вот и взяв за друзив повну меру и погану дистрохвию в придачу. Теперь, дидусю, дело не поправиш, цэй вагончик став мени ридною хатою. Я лучше заспиваю.

И Петро пел, трогательно и тоскливо пел «Чому я нэ сокил...». Вагон замирал. Аккомпанементом железно звенели и ныли колеса и рельсы под полом.

Митрофан Епишин — мужик сорока лет из Рязанской области. Здоровый, косолапый и кривоногий, неграмотный и невежественный. Темнота, по определению Коли Бакина.

Вашенко он говорил: «Силен ты, Петро, петь, силен! Ну, подуди-ка мне еще разок «Солнце всходит и заходит». Подуди, что тебе стоит?»

В таких же выражениях просил и меня: «Ох и силен ты, Митрий, стихи пересказывать, ох и силен! Расскажи стишки-то, а? Тебе ничего не стоит...»

— Я ведь имел санс уйти от тюрьмы,— сказал он,

услышав наш разговор с Володей о случайностях и закономерностях судьбы.— Уехал бы из деревни, и все. Забрали меня не враз. А я, дурень, дожидался, пока сцапают. И дождался.

— Зачем же тебе было уезжать из своей деревни?— удивился я.

— Как же не уехать, Митяй, когда я речу брякнул.

— Какую такую речу?

— Известно какую: против шерсти. На сходке мо-лоли-мололи, ругались-ругались, куда ни кинь— все клин. Мать честная, говорю, ведь не получается у нас ни хрена. Сидим голодом не первый год. Работаем, работаем — толку никакого. Мужики, говорю, давайте просить разрешения у начальства закрыть колхоз, иначе совсем подохнем. Вот такую речу я сказал. Другие тоже говорили про колхоз. Но протокол составили на одного меня. И что я сказал, и что другие говорили — все на меня записали. Пашка Стеклов составлял, он грамотный, восемь классов кончил.

— «Грамотный»! Почему же он протокол на одного тебя составил?

— Ему наш председатель Семен Хромой велел. Заберут, сказал, всю деревню, и так некому работать. А Митрофан бездетный, ему не страшно. Деревенские кое-кто советовали по-доброму: «Уезжай, Митрофан, ты же собирался на заработки, вот и уезжай. На тебя протокол составлен. Худо тебе будет». Я все хорохорился, смеялся: раз, говорю, в жизни правильную речу сказал — и бежать от нее? Да и кому я нужен, мать честная! Оказался нужен.

Ночью, в темноте — мы с Володей еще не спали, тихонько перешептывались — Епишин вдруг возбужденно и весело сказал:

— Ребята, я, знаете, что надумал? Мне горевать непошто. В деревне я сидел голодом и жилы тянул впустую. Уехать не мог — паспорт сельсовет не давал. А в тюрьме хоть кормят. Сейчас в этом вагоне плохо кормят, но приедем в лагерь, пища будет куда лучше, все говорят. И крыша будет над головой, не голое же небо, ведь верно? А работы я не боюсь, всю жизнь работаю от темна до темна. Вы увидите, ребята, какой я жилистый и упрямый в работе! Теперь и судите сами, верно я говорю или нет. Работу дадут, еда будет — и хлеб и приварок. Крыша над головой

будет. Что же еще мне надобно? Больше ничего. И, выходит, не плохой мой санс получается.

Орлиный профиль, огненные глаза, длинные прямые иссиня-черные волосы, поджарая, как у гончей, фигура — так выглядел Анатолий Гамузов. Внешность экзотическая. Он учился на последнем курсе медицинского института, но рекомендует себя врачом. Его сосед Мякишев поправляет: «Ты доктор без пяти минут».

— Главное, ты не коллективный человек,—неодобрительно ворчит Мякишев.— Я за тобою наблюдаю и удивляюсь. Вот принесли кипяток или хлеб— рвешь первым. Даже мальчишек и урок опережаешь. Нехорошо, ты ведь доктор. Возьмем твою трусость — совсем недостойно. Все оглядываешься, вздрагиваешь, блатных боишься...

— Можешь меня оставить в покое, а?—возмущался Гамузов.— Что ты меня все учишь и учишь? Ты мой папа, что ли?

— Я не только в папы, в деды гожусь. Митя меня даже Иваном Сусаниным величает,—ухмыляется Мякишев.

Гамузов действительно боялся блатных. Он старался сберечь свой чемодан, набитый одеждой и едой — консервами, сушеными фруктами, сухой колбасой. «Дядя успел привезти из Средней Азии». Он нарочно громко просил у Володи или у меня:

— Денег немного дай, а? Попрошу конвой купить мне еды.

Это для того, чтобы внушить жуликам, что у него ничего нет. Но все знали, и блатные тоже: у Гамузова чемодан полон добра, были и деньги. Мякишев прямо ему сказал:

— Не наводи тень на плетень, есть же у тебя деньги — в кожаном мешочке, что висит на шее под рубахой.

— Молчи, старик!—шепотом возмущался Гамузов.

С Колей мы подсмотрели, как он ест: забьется в угол, приоткроет на мгновение чемодан-сундук, выхватит кусок. Коля удивлялся: почему он такой тощий при гигантском аппетите?

Страх перед блатными у него не случайный, он

натерпелся от них в камере. «Все отнимали... одну пайку оставляли»,— рассказывал он. Кто-то из уроков разглядел в чуть приоткрытом чемодане шитую золотом тибетейку, попросил дать примерить. Гамузов захлопнул чемодан и все потом спрашивал у Коли:

— Украдет, а?

— Конечно,— спокойно подтвердил тот.— Лучше отдай мне.

— Не могу. Подарок, понимаешь? Нельзя отдавать подарок.

— Я понимаю, но урки не понимают, они примет не признают,— невозмутимо потешался Коля.— Украдут подарок.

Гамузов на глазах менялся, когда разговор заходил о медицине да еще о старой Бухаре. Почему-то он постоянно упоминал о пятистах сыновьях эмира бухарского. Очень долго и не один раз Гамузов рассказывал о подарке эмира— серебряном кинжале, хранившемся у его дяди.

— Ты сам, часом, не сын этого бухарского эмира?— спросил Мякишев.— Уж что-то ты его очень расписываешь. Пятисотый экземпляр, а? Твой эмир небось согрешил с какой-нибудь русской красоткой.

«Доктор без пяти минут» отнекивался, правда, не вполне твердо и уверенно. Ему, видно, льстило такое предположение.

Мякишев и Гамузов постоянно спорили и препирались. Мякишев рассуждал неторопливо и с иронией, его сосед заходил от ярости, на губах аж клочкотала пена. Доктор слушать не мог спокойно рассуждения Мякишева о притаившихся всюду врагах.

— Вздор, чушь и ерунда, понимаешь? Глупость! Ты политически малограмотный, а? Ни в какие ворота не лезет твоя теория, понимаешь?

— Моя теория не может прийтись по душе незаконному сынку эмира,— возражал, дымя махрой, старик.— Хоть ты и пятисотый, но все равно мерзкая капля той крови в тебе есть.

Мы забавлялись, слушая обе стороны, а думать всерьез о существовании их споров не хотелось. Я не однажды заводил с Володией разговор о Гамузове: мол, как к нему относиться? А если он в самом деле сын эмира?

Володя слушал, молчал, потом говорил:

— Ладно, Митя, отстань с этим эмиром бухарским, своих забот хватает. Гамузов просто большой дуралей. Это уже внеклассовая категория.

Мне в Гамузове нравилась его преданность медицине. Здесь, в вагоне, он чувствовал себя ее служителем. Возможностей и лекарств не имел, зато возмещал их суетой и горячностью.

Совсем трудно было понять, за что его посадили (впрочем, разве можно было понять, почему попали в тюрьму я или Володя?). Положим, болтал доктор изрядно, но у меня было впечатление, что он редко говорит правду.

— Я на третий курс когда перешел—понимаешь?—вызывают меня к директору,— рассказывал он.— Вижу, три солидных человека сидят. Здравствуйте, как поживаете, как идут занятия? Я отвечаю: хорошо идут, отлично. Они головами кивают, понимаешь? И один объявляет: вы назначены заместителем председателя РОКК¹. Есть председатель и два других заместителя, так что особой работы у вас не будет. Слушайте, говорю, какой такой РОКК? Знать не знаю. Зачем мне быть заместителем? Не хочу! А они уже хлопают по плечу: надо смелее выдвигать молодые кадры. Трясут руку, понимаешь? Я даже заплакал, понимаешь? Чувствовал, наверное, да? Проклятый этот РОКК принес большое несчастье.

— Какое отношение это имеет к твоему аресту?—спросил Володя.— Твердишь: РОКК, РОКК. Причем здесь РОКК?

— Как причем РОКК? Прямое отношение имеет. Вот слушай. Председателя арестовали, так? Заместителя арестовали? Второго заместителя арестовали, так? Третьего арестовали, так? Третий заместитель и есть я! Понимаешь теперь?

Гамузов волновался, что с ним будет. Уверенность, что его вот-вот освободят (кто-то из родственников добился свидания и заверил), чередовалась с панической боязнью тяжелого, черного труда. Он не представлял себе, как будет таскать бревна на лесозаготовках или катать тачку на стройке.

На одной из стоянок конвой искал в вагонах врача: кто-то заболел. Не успел начальник спросить, нет

¹ Российское общество Красного Креста.

ли среди нас доктора, Гамузов сорвался с места и заорал:

— Есть! Начальник, есть у нас доктор! Начальник, вот он, доктор! Я, Гамузов, врач!

Вернувшись через час-другой, Гамузов заявил:

— Воспаление легких, понимаешь? Я сразу установил. Банки, говорю, ставить. Горчичники на спину и грудь. Растирать камфорным маслом. Аспирин давать. Тяжелый больной, понимаешь?

— Поправится теперь?— спросил Мякишев.

— Не поправится! Банок нет. Горчичников нет. Аспирина нет, понимаешь? Станция маленькая, больницы нет, медпункта нет.— Помолчав, Гамузов снова оживился.— Знаешь, что сказал начальник? Он сказал: будешь в лагере доктором. Люди везде болеют, и везде нужен доктор.

Рассудительный Степан Мякишев был тем самым человеком, который сочувственно назвал меня бедолагой, пустившимся в зимнее путешествие в легоньких ботиночках. Борода и густой бас были у него вполне дьяконовские. В отместку за «бедолагу» я высказал предположение насчет дьякона и в придачу назвал его Иваном Сусаниным. Мякишев гулко хохотнул:

— Не диакон я и не артист в опере. Угадай-ка сам, кто я? Ни за что не отгадаешь! (Он говорил с неправильными ударениями.) Ну что? Я сказал, не отгадаешь. Ассенизатор я, ребята, говновоз. Вся моя семья дерьмом кормится. Вас интересует, что за личность Мякишев и как попал сюда. Пожалуйста. Чего мне таиться? Тем более оба вы мне нравятся,— это он мне и Володе.— Посадили вас напрасно, однако не горюйте. Пословица верно говорит: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Еще лучше другая: за битого двух небитых дают. Наука от казенного дома огромная. Я человек простой, неученый. Жизнь зато прошел трудную, опыта полон мешок скопил и соли в щак съел целый пуд. По своему опыту я мог быть директором каким-нибудь, только по характеру не годюсь, не уживчив и грамотой не тяну. Две зимы сельской школы — все мое высшее образование.

Вам забавно показалось, когда я отрекомендовал-

ся: ассенизатор. Здорово хохотали вы, приятно было послушать. А я и не шутил. Считается наша должность некрасивой. Я же так вам скажу: ассенизатор — тот же рабочий, трудящийся человек. Вообще-то я плотник по профессии, сын у меня шофер, дочь по питанию, официанткой работала в столовой. Все зараз стали, как и я. Спросите, почему? Из-за квартиры. Бедовали мы в тесном сыром подвалишке, мучились и узнали по объявлению: ассенизаторам предоставляют квартиру. Чтобы приманить, значит. Мы все втроем (мать, конечно, не в счет, она по хозяйству) заделались ассенизаторами. Я и дочь выгребаем, сын отвозит. Год-другой с лошадьёю работали, и было очень нелегко, потом прекрасные машины ввели (говорят, за границей их купили, золота не пожалели). Рукав опускаешь в яму, и машина сама все в систему втягивает. Потом обратным манером через тот же рукав или шланг все добро выдавливает. Это уже на полях орошения. Механизация. Вот какие делишки.

За что меня забрали? За сына, это раз. За вредную теорию, это два. Какую такую теорию? Скажу, пожалуйста. Никакая она не вредная, самая верная эта теория. Ты посмотри внимательно: кто едет здесь, в нашем вагоне? Трудящие, не считая жульёя человек пять и жлобов, то есть бывших кулаков, три или четыре фигуры (Мякишев говорил «хвигуры»). Кто же посадил трудящих в тюрьму, скажи мне? Не знаешь? А я знаю. Дворяне посадили. Они, эти дворяне, хитрым манером проникли всюду, во все учреждения, пристроились на важных постах и вредят. Очень тонко вредят, заметь. Что плохо для государства, то они и проводят. Аресты, например. Ихнее это дело! Большие массы невинных людей сунули в тюрьмы, в лагеря. Советской власти вред, им, дворянам, польза. Я, бывший партизан и красногвардеец Мякишев, заслуженный перед Советской властью человек, попал в контры. Почему? Потому что поносил этих самых дворян. Они мне и отомстили.

Мякишев разгорячился и громко, на весь вагон, не стесняясь, развивал свою теорию. Она позабавила обитателей вагона. «Теперь я знаю, кто меня сюда упрятал», — смеялся кто-то. Коля Бакин комично копировал деда: «Вот какие делишки, — и загибал пальцы. — Это раз, а это два».

Володя серьезно слушал и грустно усмехался. — Неужели за смешную и нелепую теорию можно посадить человека? — спросил я.

— А чем его теория глупее той, что руководствуются наши с тобой следователи? Они тоже всюду видят притаившихся врагов.

— ...Теперь слушай про сына, — рассказывал Мякишев. — Он ухаживал за одной девахой. С год, наверно, гуляли они, если не больше. Хорошая деваха, собой пригожая, из трудящей семьи потомственных ткачей. Сын мне говорит: «Бать, я надумал жениться. Как ты посмотришь?» А я уже давно посмотрел, вижу: пара. Говорю ему: согласен. Где, мол, будешь жить? У них, говорит, квартира просторнее, но я бы хотел у нас. Ладно, говорю, потеснимся.

Ее родители как будто не возражали. Парень, видят, складный, специальность хорошая — шофер. В гости нас пригласили, все чин по чину. Давайте, говорю, к Новому году и обладим свадьбу-то. Они согласны.

Все было прекрасно, и все разом поломалось. Через чего? Через то, что невеста и ее родители собрали справки и узнали, кто Мякишевы. Пусть, говорят, жених, папаша и сестра меняют профессию. Это же позор, а не профессия, засмеют знакомые, на улицу не выйдешь и на фабрику не покажешься. А мы, сам понимаешь, бросить свое занятие никак не можем, потому — квартира. Пытался невесте и родителям объяснить положение, ни в какую! Раз свою дерьмовую профессию не покидаете, забудьте наш адрес. Я погорячился, накидал им целую бочку матерщины. Сыну говорю: имей солидность, потерпи, одумаются и сами прибегут.

Не прибежали. Совсем наоборот. Узнали мы немного времени спустя, что новый жених вместо нас завелся. Не ассенизатор какой-нибудь, поднимай выше: бухгалтер, даже старший бухгалтер, интеллигенция.

Парень мой пал духом. Пытался я сам на будущую невестку повлиять, про его любовь рассказать — и слушать не хочет, даже перемена профессии ее уже не волнует. Одним словом, старший бухгалтер затуманил ей мозги.

Как-то вечером прибегает мой Павлушка, весь тря-

сется. «Батя, завтра у них свадьба. Я этого не перенесу».

Успокаиваю сердечного и смотреть не могу на него, такой он печальный. И у самого душа клокочет. Ну, чем помочь? Как дух у него поднять? Думал-думай и надумал: давай, говорю, сынок, отведем душу и поставим на том точку. Мало ли прекрасных девок в Москве? Еще лучше найдем, вот увидишь.

Он ожил, глядит на меня с надеждой: «Мне бы только отомстить, большего я и не желаю».

Попугаем, говорю, немножко этих зазнаек. Зайду к ним сегодня, предупреждение сделаю: ждите, мол, в гости. Приедем на самой шикарной машине, привезем подарок.

Мой парень ржет и радуется: «Здорово ты придумал, батя! Они ведь прямо с ума сойдут. И свадьба их нечестная скиснет!»

Вечером захожу к нашим оскорбителям — как раз все они кучкой сидят, включая старшего бухгалтера. Заявляю им, ждите на свадьбу отца и сына. Подарок ждите. Хором загалдели: не посмеете. Я смеюсь: еще как посмеем.

На другой день после работы раздавили мы с Павлушкой поллитра и поехали на своей машине в гости. Парень мой крутит баранку и посмеивается, а мне радостно, что он в себя пришел.

Свадьба идет полным ходом, народу уйма, кричат «горько». Все как полагается. Под окнами весь переулок столпился, дивуются. Благо хорошо видно, поскольку они квартируют на первом этаже.

И вдруг наша огромная машина. Народ от окон отхлынул — и к нам. Удивляются машине, мальчишки спрашивают: «Дяденьки, выгребать будете?»—«Нет, мы на свадьбу».

Конечно, шум и смех. И свадьба притихла, обратили внимание на машину. Невеста завизжала.

Мы с Павлушкой степенно этак в дом идем — поздравлять молодых. Входим. Свадьба сидит мертвая, невеста хнычет. Павлушка весело поздравляет. Извините, мол, что экипаж некрасивый.

Я публично объясняю гостям: дескать, оскорбили нашу рабочую честь. Если вы трудящиеся люди, то вполне нам посочувствуете. Ну и думал на этом рас-

прощаться. Люди мы приличные, сроду никого не обижали. Живите, мол, богато и красиво.

Тут, однако, встают из-за стола два гражданина, идут к нам. Не дали они мне докончить. «Все ясно. Нас правильно предупредили (это, значит, бухгалтер с папашей донесли). Пройдемте, граждане, отсюда. Будете отвечать за покушение на знатных людей. Вражеский террор не допустим». — «С удовольствием», — отвечает Павлушка, — я теперь за подлую измену отомщенный».

На допросах я крепко ругал и теорию свою доказывал как мог. Несколько раз вызывали, и я на фактах разъяснял пакости дворян. Напоследок вызвали и сказали: «Старик ты вредный, и теория твоя несоветская. Вообще язык у тебя плохо болтается и всего можно от тебя ожидать. Получай пятерку, а сыну хватит двух годов, поскольку инициатива целиком от тебя исходит».

Вот какие делишки.

...Вагон грохотал. Вагон так грохотал, что впору было опасаться, как бы не соскочил с рельсов. От всей компании не отставал и Мякишев. Хохотал зычно, по-дьяконовски, оглаживая бороду и оглядывая всех искривляющимися глазами.

В ПОИСКАХ ВРАГА

Мне казались смешными догадки соседей о моих врагах, я отмахивался от наводящих вопросов, но не очень-то мне удавалось от них отмахнуться. В самом деле, откуда НКВД узнало обо мне, рабочем пареньке с химзавода, студенте вечернего института? Кто-то оклеветал меня. Кто? Долгими часами днем и ночью с пристрастием допрашивал я себя.

Сначала я вспомнил самых закадычных друзей, и сердце защемило от милых воспоминаний. Нет и нет, никто из друзей не мог быть виновником моей беды! Я не мог бы тайно предать Борю Ларичева или Ваню Ревнова, равно и они не способны на это. Перебрал одного за другим всех, с кем работая или просто знаком был, среди заводских не нашел своего обидчика. И среди знакомых отца не находил.

Оставался институт. Чем больше я вспоминал, сопоставлял и критиковал, тем больше убеждался: да,

именно институт толкнул меня в беду. Подумать только, я и ходил туда чуть больше года после нескольких лет мечтаний. Вот и домечтался!

Сразу по окончании школы я поступал в театральный институт и провалился перед лицом важной комиссии из народных артистов и заслуженных деятелей искусства. «Следующий!»— поставленным голосом крикнул председатель, считая, что со мной вопрос ясен. Только один человек из комиссии, седоватый и незначительный, из сочувствия посоветовал: «Приходите снова на будущий год, обязательно!» Я пришел. Весь завод болел за меня, заводская путевка лежала в кармане. Невозможно было опозориться и не поступить. И я поступил на вечернее отделение. Народные артисты и заслуженные деятели остались довольны моими ответами о Станиславском, о методе физических действий и этюдом на заданную тему («Вы работаете на химическом заводе? Вот и покажите, как вы работаете. Начало смены, вы приступили. Вошли в темп, разгорячились, вам нравится работа, но вы ее побаиваетесь. Близится конец смены, вы устали»).

По своему выбору я еще показал пародию на комиссию экзаменаторов и экзаменуемого, используя собственный печальный опыт. Народные и заслуженные посмеялись и похлопали. К счастью, они не узнали во мне отвергнутого раньше парнишку. Только незначительный и теперь совсем седой доброжелатель не забыл меня. Как и год назад, он вышел за мной в коридор. «Я знал, что придете».

Каждый вечер после работы я ходил на занятия, сидел ночью над книгами и радовался: все успеваю, на все хватает времени. Лекции, творческая практика, споры на самые разные темы, обсуждение новых спектаклей... Э, да что толковать! Институт занял в моей жизни громадное место. Однако если бы не институт, не стряслось бы со мной несчастья.

Хотя дело, очевидно, не в институте. Предположим, я ушел бы от судьбы. Ну, а другие, тот же Володя или Коля Бакин? Они ведь не учились, а от тюрьмы не ушли. Суть не в институте. Вернее, у каждого нашелся свой «институт».

После того как столбняк немного меня отпустил, я начал осматриваться, соображать и понял: декабрь

1934 года не одному мне изуродовал жизнь. Удар пришелся по всему народу, и он, могучий, ежась от боли, долго не понимал, что произошло.

Убийство Кирова потрясло всех. Кирова знали и любили. Мое отношение к гибели Кирова усугублялось большим горем отца, лично знакомого с Миронычем. Его сердцем я переживал, его словами высказывал гнев и тревогу.

И вот следователь, уставив свои воспаленные глаза, обвинял меня в кошунственном отношении к смерти Кирова. Якобы я чуть ли не злорадствовал, высказывал сомнения в правильности расследования убийства, комментировал письмо рабочих Сталину: «Мы хорошо понимаем, как тебе тяжело в эти дни».

Сразу же возник скандал. Я заорал на него. Он оскорбил меня, разве можно было стерпеть такие обвинения?

Следователь выхватил «пушку» и направил мне в лицо. Скорее удивленный, чем напуганный, я умолк и плюхнулся на место. Он положил револьвер на стол.

— Пусть эта штучка полежит здесь для вашего же спокойствия. Предупреждаю: за один такой взрыв схлопочете срок. Минимум трояк.

В камере меня наставляли: только не горячись, будь спокоен. Не дай бог его оскорбить, оскорблять может только он. И он будет рад, если ты выйдешь из себя. Я вышел из себя и, наверное, все испортил. Но как отвечать человеку, если он заведомо тебе не верит и обязательно хочет изобличить в том, в чем ты не виноват? Или ему для счета нужно пришить еще одно дело (так ведь говорят в камере)? Его обвинения основывались на разговорах и спорах в нашей студенческой среде, и я мог по правде все рассказать следователю. В этих разговорах, ей-богу, не было ничего преступного. Но следователя мой рассказ не устраивал, у него была наготове своя версия.

— Вот вы сомневались в деле Кирова: мол, все подстроено и запутано. Так?— спрашивал следователь.

— Нет, не так. Для всех смерть. Сергея Мироновича Кирова была большим горем. Много возникало вопросов, и говорили так: надо распутать все и наказать виновных.

— Вот-вот, сомневались в органах. По-вашему,

органы не сумеют разобраться? А кто вам подбросил сомнения? Ваш отец?

— Я вам уже говорил, не трогайте отца, он старый большевик, не вам о нем судить. Я обязан ему всем: тем, что всю пятилетку на заводе, тем, что я ударник и комсомолец.

— Между прочим, ошибаетесь: уже не комсомолец. Товарищи осудили вас... Понятно?

— Нет, не понятно. Позовите товарищей с завода, из института, и я у них спрошу, отреклись они от меня или нет.

— Еще чего! Будем хороших людей из-за вас беспокоить. Сами разберемся. Могу, конечно, запросить протокол собрания.

Хотел ли я видеть протокол? Мне было страшно. Неужели меня исключили? Я вспомнил, как в институте обсуждали дело студента Шустикова — у него арестовали отца. Большинство голосовали против исключения. Но многие были за. А ведь там был арестован отец. Здесь сам комсомолец.

— Что молчите? Вспоминаете аналогичный случай? Вот и скажите: голосовали за исключение Шустикова или против?

— Я не голосовал, так как состою в заводской организации. Но я был против исключения Шустикова.

— Ясно! Вы не могли не поддержать сына врага народа.

— Большинство проголосовали против. Шустикова все знают в институте, он настоящий комсомолец.

— «Большинство»! К сожалению, оно пошло за такими, как вы.

— Для чего вы все это говорите? Я ни в чем не виноват. Вам придется меня отпустить, и я потребую ответа.

— Вы еще мне грозите! Не будьте глупцом и не рыпайтесь. Мы с вами не в институте на лекции. Только чистосердечное признание и раскаяние могут облегчить вашу участь.

— В чем признание, в чем раскаяние?

— Опять вопрос?— Следователь вскакивал и смотрел на часы. Он заметно торопился и ворчал, что я тяну резину.— Признание и раскаяние во вредных мыслях, в поведении, недостойном советского моло-

дого человека. В вашем присутствии говорили, что товарищ Сталин слепой, не видит, что кругом творится. Разводили контрреволюцию, а вы молчали. Молчание — знак согласия. Кивали головой, поддакивали. Может, скажете, и этого не было?

— Не было!

— А что было?

— Последнее время говорили об арестах в Москве. Я лично считал это обывательскими слухами... Другие говорили: наверное, товарищ Сталин об этом не знает.

— Кто именно говорил?

— Я не помню. Не записывать же, кто и что говорил.

— Вот-вот, помочь выявить врагов не желаете. Свалить хотите на какого-то дядю — и все. Кто говорил про товарища Сталина, ну?

— Не помню. Во всяком случае, о товарище Сталине плохо не говорили.

— Слушайте, Промыслов, не смейте называть его товарищем.

— Почему я не могу называть его товарищем?

— Потому что вы заключенный. Потому что вы обвиняетесь в контрреволюции! Мы все про вас знаем.

— Откуда же знаете?— Я забывал, что должен сохранять спокойствие, выдержки не хватало.— На заводе вы не работаете, в институте не учитесь.

— Органы, молодой человек, все видят, все знают.

Следователь ухмылялся. Улыбка у него была страшная.

— Коли знаете все, зачем спрашиваете? Пишите в протокол.

— Так и запишем: отказался отвечать, грубил и хамил. Учтите, худо будет вам, не мне.

Он снова курил и составлял протокол. Написав, внимательно перечитывал. Долго смотрел на меня и протягивал бумагу.

— Читайте и подписывайте. Жаль мне вас: губите сами себя.

В протоколе ясным, четким почерком были написаны вопросы и после каждого отмечено: отвечать отказался. В конце протокола как итог: «На ваши вопросы не хочу отвечать».

Я не знал, как быть. Мои советчики в камере не

предусмотрели такого варианта. Казалось, это благополучный конец делу: я опроверг обвинения, не признал. Подписать? И сразу вспомнилось: «Не подписывай протокол!»

— Последнее,— сказал следователь.— Вы в ходе допроса показали: мол, ходили слухи об арестах в Москве. Высказывались сомнения в справедливости арестов, да? Вспомните: кто сомневался? Назовите фамилии. И я облегчу вашу участь, закрою дело.

— Кого назвать? Какие фамилии! Вы с ума сошли!

— Уж не знаю, кто из нас сошел или сойдет с ума. Говорить с вами, вижу, бесполезно.— Он вскочил, взглянув на часы.— Подписывайте протокол, Промыслов.

— И не подумайте! Вы под каждым вопросом написали: отказался отвечать. А я отвечал на каждый вопрос. Нашли дурачка!

— Что ж, считайте себя умным! Подумайте на досуге в камере, может быть, еще умнее станете. Поумнеете, дайте знать через старшего надзирателя. Пока еще есть шанс отделаться легким ушибом: два года срока, возможно, три. Не поумнеете — вся пятерка ваша, вот мое слово!

Допросы меня ошаршили, потрясли. Они потом много раз вспоминались, кошмаром повторялись в дурных снах. Когда вагонзак двинулся на Восток, я десятки раз воспроизводил в уме беседы с красноглазым и согласно советам соотносил, сверял, сопоставлял. В конце концов я нашел пославшего меня в тюрьму.

Среди студентов нашего курса был некий Рекин. С ним у меня сразу сложились напряженные отношения. Никто не мог взять в толк, зачем поступил он в наш институт. Мы считали, никаких данных у него нет, разве что данные администратора. От творческой практики, от этюдов он уклонялся, на первых же зачетах нахватал плохих отметок. С душой он отдавался только общественной работе, и, вполне понятно, его выбрали в партийное бюро института. Я уже говорил, мы обсуждали все на свете, особенно то, что относится к искусству. Он выступал примерно так: «Партия считает...» Я возмущался: «Почему ты го-

воришь от имени партии? Это ты так считаешь, а не партия!!»

После очередной стычки Рекин отозвал меня в сторонку. «Ты поступаешь не по-комсомольски, подрываешь мой авторитет представителя партбюро». Я дерзко и, очевидно, нехорошо ответил Рекину: «За авторитет не беспокойся, у тебя его все равно нету. Выбрали по ошибке и быстро переизберут».

Занимаясь розысками недруга, я подчас не мог вспомнить, был или не был Рекин при таком-то и таком-то разговоре. Это следовательно в точности знал, какой когда с кем был разговор! Но я отчетливо припомнил эпизоды, когда без Рекина явно не обошлось. После собрания, когда решалась судьба Шустикова, Рекин спросил у меня, я за или против исключения. Я ответил, как думал: «Я против. Ты, конечно, за исключение?» Рекин на это ничего не сказал.

Особенно важным оказался случай, который мне напомнил следовательно, придав ему опасную и зловещую окраску.

В кружке текущей политики мы изучали материалы «Пятнадцать лет Коминтерна». Зашла речь о том, что даже в тезисах почти в каждом абзаце встречается излишнее славословие: мол, товарищ Сталин установил пути мировой революции, товарищ Сталин принял руководящее участие, товарищ Сталин... Без конца... Зря, мол, он сам не обращает на это внимание.

— Сейчас же бросьте эту тему!— вдруг потребовал Рекин.

Мы рассмеялись, очень уж свирепо он набросился на нас.

— Разве нельзя иметь свое мнение?— спросил кто-то.— Мы ведь правду говорим. И речь не о товарище Сталине: разве он виноват, что его славословят к месту и не к месту?

— Я говорю, прекратите!— упрямо настаивал Рекин.

Окрик нас только раззадорил. Один из студентов заговорил об огромной скульптуре Сталина, сделанной Меркуровым.

— Разве это не подхалимство?— возмущался студент.— Что толкнуло скульптора? Ведь не сам же Сталин заказал ему слепить себя.

Рекин пришел в ужас от нашего разговора. Сначала он только махал руками, потом прорвался вопль: — Прекратите, я запрещаю! Сейчас же прекратите.

— Кто ты такой, чтоб запрещать?— разозлился я.— Каждый имеет право высказать свое мнение.

Рекин, черт его побери, показал мне, кто он такой.

Обретя объект мщения, я теперь мог направить на него весь огонь ненависти и гнева. В мыслях своих я сотни раз испепелял его, проклятого, этим огнем. Однако сразу же убедился: мысли о мщении не извлекли от мучительных вопросов.

Без конца спрашивал себя: почему поверили ему и не поверили мне, даже не выслушали толком? Почему не поговорили с людьми, которые меня знают? Почему пытаются бросить тень на отца? Вызвали бы его, сразу все стало бы на место. Неужели верно здесь говорят: «Достаточно одного заявления, и человек оказывается в тюрьме». Чепуха, никогда не поверю! Но меня-то, судя по всему, посадили по доносу. Как же так? Предположим даже, я и ребята в чем-то не правы, можно же объяснить нам, выругать, даже наказать. Но не сажать же в тюрьму без суда и почти без следствия! У нас диктатура, она сурова. Однако диктатура направлена против врагов. Кому нужно сделать меня врагом? Рекину это нужно? Или, может быть мне просто не повезло: попался плохой следователь, человек без совести? Но ведь у Володи другой следователь. И тоже без совести...

Никто не мог ответить. Во всяком случае, не мог ответить Володя. Оставалось изливать душу, и я тихо, чуть шевеля губами, изливал ему свою обиду и горечь.

Не получая ответа, я тем сильнее ненавидел своего врага. В сотнях вариантов я возвращался домой, в Москву, разыскивал Рекина и правил суд, беспощадный, справедливый суд.

— Скажи, ты нашел его потом, когда вернулся?

— Представь себе, товарищи по несчастью были правы, зря я смеялся над их опытом. Вообще не Рекин оказался виновником моих бед. Он-то, наоборот, очень переживал мой арест, пытался выручить, куда-то ходил, хлопотал. Ему попало как следует за хло-

поты. Теперь-то я понимаю, не зря Рекин пытался сдерживать наши опасные по тому времени речи и суждения. Он догадывался о том, о чем мы и не подозревали. Рекин много лет спустя разыскал меня, и мы объяснились.

— А кто же?

— Кто меня посадил? Фамилия тебе ничего не скажет. Его я ни разу не заподозрил. До сих пор передергивает, когда вспоминаю его привычку ходить в обнимку и доверительно шептать: «Ах ты! Мой дорогой! Очень ты мне нравишься. За что? За талант, за ум, за принципиальность. Твои пародии превосходны. Ты меня так здорово изображаешь, диво. И я совсем не обижаюсь. Слушай, Митя, дружок, любя тебя, хочу предупредить: бойся Рекина, он очень страшный человек. Ни о чем не спрашивай, но остерегайся...» Да, не сразу начинаешь понимать: подлость, измена и обман выбирают для себя ласковые обличия.

— Но кто же он? И почему такой?

— Рекин много рассказывал о нём, и мы вместе с ним пытались понять, почему он такой.

Этот ласковый был лет на шесть или семь старше меня. В институт поступил, поработав в театре. Явно не лишен был способностей. В жизни и на сцене любил играть роль рубахи-парня. Рекин знал его раньше, ему были известны случаи, когда «ласковый» проявлял бдительность, открыто вступал в борьбу с людьми, которых искренне считал идейными противниками. Словом, был комсомольцем, как многие.

А в институте Рекин увидел «ласкового» уже другим. Его активность приняла новые формы. Он не выступал, мнений не высказывал, со всеми ладил, любил кулуары собраний и домашние беседы, научился поддакивать и вести наводящие разговоры. Словом, я ему подвернулся, когда этот тип уже прошел большую выучку.

— Почему же он стал таким?

— Ты пойми, величайшее преступление состояло в подлом и хитром использовании идейности советских людей, их веры в непогрешимость органов. Туда направляли людей, которые искренне полагали, что борются с врагами. Некоторые потом прозрели. Но многие переродились в обстановке беззакония и бесконтрольности. Порядочность выглядела подозритель-

ной, стремление придериваться буквы закона легко могло сойти за потерю бдительности. Зато бойкая готовность поступиться совестью куда больше приходилась ко двору.

И еще пойми вот что. Сталин, став однажды на путь репрессий, с годами все лютее и бесцеремоннее нарушал законность. Володя или, скажем, Петро Ващенко получили «всего» три года лагеря. В 1937 и 1939 годах меньше десяти лет не давали. Коли ты враг, что тебя жалеть!

Но, конечно, во все годы одно оставалось нестерпимо тяжким в равной мере: честный человек, преданный идеям ленинской революции, ни за что попал за решетку, лишался свободы. Это беда самая тяжелая, а режим, пища, работа — лучше они или хуже — были сопутствующими бедами. Понимаешь? Двадцать пять лет заключения — это срок на уничтожение, бесконечный расстрел. Десять лет тоже немислимы и тоже конец: самое прекрасное в человеке, его воля и вера выжимаются по капле час за часом все три тысячи шестьсот пятьдесят дней. Но страшны и три года, если они даны без вины, хотя три года можно вытерпеть, стиснув зубы. Да кинь ты человека в тюрьму всего на один месяц, и он потом будет помнить этот месяц всю жизнь, кошмарное видение голубого неба в клетку будет его терзать всегда. Всегда! Всю жизнь!

— Ты этого... ласкового... встретил потом?

— Нет.

«ЯЗЫЧНИКИ»

(Бакин, Фролов, Антонов,
Феофанов, Кокин, Флеров)

Коля Бакин все делал по непосредственному побуждению и легко сходил с людьми, не думая об условностях. Подходил, заводил разговор и через полчаса был на короткой ноге с новым знакомым. Весь вагон с первых дней знал его, и он знал всех.

Больше всего, естественно, его тянуло к сверстникам. Были в вагоне еще четыре парня нашего с ним возраста: Фролов, Антонов, Феофанов и Кокин. Флеров был постарше.

Феофанов и Кокин, как и сам Коля, размещались на верхних нарах над нами.

«Язычники», или «мастера художественного слова», как с усмешкой их называли. Это означало, что осудили их по суровой статье 58 на три года лагеря за язык, за антисоветскую агитацию, а проще и точнее говоря — за болтовню, за рассказывание анекдотов. Все они были трудовые люди, трудом зарабатывали себе на хлеб: Коля работал в проектной конторе чертежником, Фролов — слесарем на «Динамо», Кокин — счетоводом в бухгалтерии и готовился поступить в заочный институт, Флеров — зубным техником в поликлинике, Феофанов и Антонов учились в техникуме и подрабатывали на железной дороге.

Девятнадцатилетние и двадцатилетние парни изнывали от избытка бесполезной теперь энергии. Просто лежать многими часами, как делали все, они не могли и день-деньской искали себе занятия. То они ковыряли пол, мечтая о побеге, то затевали возню или очередной розыгрыш, то пели блатные песни, то глазели в окошко, то дразнили часового на остановках: «Воробей на штык сядет, что будешь делать? Арестуешь?»

Володя заставил их рассказать о себе, и выяснились довольно грустные и нелепые истории.

Фролов — крепкий малый с хорошим, открытым лицом — надавал плюх одному заводскому парню, который приставал к его девушке. Соперник Фролова использовал свое положение секретаря цеховой комсомольской ячейки и под заурядную драку подвел солидную базу: раззвонил, что на него, деятеля комсомола, было совершено покушение антисоветчиком, побоявшимся разоблачения. Относительно истинной причины конфликта «деятель» умолчал, а сам Фролов не хотел впутывать ни в чем не повинную девушку. На чудовищное обвинение Фролов отвечал дерзостями, и за один допрос следствие было закончено.

— От силы тебя надо было наказать за хулиганство, — высказался на этот счет Мякишев. — Штраф наложить. Три года лагеря — это слишком. Вот твоему сопернику — падло он сволочное! — я бы дал твой срок.

— Жаль, не ты тройка, — усмехнулся Фролов и

пообещал:— Ничего, когда-никогда вернусь и рассчитаюсь сполна!

Студенты и Кокин рассказывали анекдоты. Гамузов очень интересовался, просил пересказать. Они уклонялись. Видно, уже сейчас эти анекдоты и болтовня им претили.

— Анекдоты ваши дерьмовые, судя по всему,— сказал Володя.— Их повторять — только рот пачкать.— Он укорил парней:— Что ж вы, ребята, языки распустили? Ведь комсомольцы.

Ответить было нечем.

— У меня пациент сидит с открытым ртом, а говорить ему нельзя,— объяснял Флеров.

— Значит, за двоих трепался? Развлекал?

Феофанов смущенно оправдывался:

— Не придавали серьезного значения. Соберемся между лекциями и болтаем. Один расскажет одно, другой другое. Разве не так?

— Да... Развлеклись, выходит, на всю жизнь,— вздохнул Вашенко.

За что же посадили Колю Бакина? Мы с Володей с большим трудом разговорили его. Он все отшучивался:

— Я же вам сказал: за Ветошный переулок.

— Чего стесняешься? Хуже тебе не будет (этот аргумент обычно выдвигался для тех, кто не хотел почему-либо откровенничать).

В конце концов Коля рассказал свою историю. Рассказал только мне и Володе, когда наши соседи чем-то отвлеклись. Лица не было видно, и я сейчас, вспоминая, словно слышу его голос в полумраке.

— ...Еще в школе мы с Нинкой любовь крутили. В одной группе учились, я заметил ее чуть ли не с первого дня. Хорошенькая, умная и без фокусов. Нас женихом и невестой дразнили, а учитель по географии так и сказал однажды:

— Учиться вам некогда, вы только и мечтаете друг о друге. Может быть, уж поженитесь и бросите школу?

Мы, и верно, ждали, когда кончим школу и наступит наше совершеннолетие. Договорились: жить будем у нас, свадьбу делать не будем, чтоб все было скромно. Отца у меня нет, зато мама замечательная.

Нина ей нравилась, наши планы она знала. Мне мама сказала:

— Я верю в такую любовь. Дай бог вам счастья.

Нинины родители посмеивались над нами, однако мы этому значения не придавали, думали, уговорим их, уломаем.

Когда окончили школу, Нина подарила мне портрет... не свой (ее фотография у меня была давно), а его... Сталина. Надпись сделала на обороте — клятва своего рода: «Родной Коля, я клянусь, что люблю тебя на всю жизнь. Твоя Нина. Пишу специально на фотографии дорогого нам всем человека».

После школы я поступил на курсы чертежников, окончил и устроился в проектную контору. Нина держала экзамены в химический вуз, и ее приняли, как дочь рабочего. Даже стипендию положили. Посоветовались мы с моей мамой и решили объявить ее родителям о своей женитьбе. Чего же тянуть, если у нас любовь, мы друг без дружки не можем и у нас есть для семьи материальная база?

Пришел я к ним, объявил наше решение. Мать ее в плач:

— Нина, он же еще сопливый мальчишка.

Отец покруче выразился:

— Ты не видишь, глупая, что ли? Он легкомысленный и озорной. Я ему паршивую собачонку не доверил бы, не только тебя.

Махал руками и под конец выгнал меня. Строгонастрога запретил встречаться. Уж что я ни придумывал, ни предпринимал! Он хитрее и ловчее оказался. Мама моя пошла к ним, он и ее не стал слушать.

Нина прислала письмо: «Коля, папа прав, мы не должны больше встречаться. Прощай, теперь уж не увидимся. Нина». Она кроткая и покорная такая — папаше подчинилась.

Я после Нинкиного письма ходил, как псих, не помнил себя от горя и от злости. Видеть ее хотелось, прямо жить не мог, работа из рук валилась. Мама со мной совсем извелась:

— Коля, да успокойся, приди в себя, ты же мужчина, нельзя быть таким нетерпеливым. Перемелется, мука будет.

Я не унимался и всюду искал встречи с Ниной, подстерегал ее у дома и возле института. Но папа-

ша и встречал ее и провожал, глаз с нее не спускал. Однажды я вроде поймал ее одну, внезапно выскочил из-за угла, она вся побелела. Стоим, смотрим друг на друга, а слов нет. И тут, конечно, появляется отец, чтоб он подох! Устроил на всю улицу скандал, милицию стал звать. Если бы Нинки тут не было, я б выдал ему! А так пришлось ретироваться.

На другой день снова получил от нее письмо: «Я говорю тебе твердо и окончательно: между нами все кончено. Не ищи меня, бесполезно. Считаю, я уехала навсегда или умерла. Нина».

Тогда я разозлился. Разлюбила, думаю. Успокоилась и примирилась, овечка. Папочку своего послушалась. Он сказал: плюнь. И она плюнула. Разорвал я ее подарок: портрет с надписью о том, что любит на всю жизнь. Клочки от портрета положил в конверт и послал ей с надписью: «Раз ты так, то и я возвращаю тебе твою фальшивую клятву. Грош ей цена! Порвал я вместе с ней свою любовь. Николай Бакин»... Э, да чего рассказывать. Не хочу, ну вас к черту!— взбунтовался вдруг Коля и приподнялся, чтобы ударить от нас.

Мы с Володей его не пустили, зажали с двух сторон и держим.

— Говори, Коля,— попросил я.— Начал, так уж кончай.

— Что кончать-то? Я все рассказал. Нинка получила мой конверт и ужаснулась. Показала записку и порванный портрет отцу. Упрашивала его, фраера подлого: «Смотри, до чего довел человека. Не мучай нас».

Папаша на ее слова и на мою записку внимания не обратил, а порванный портрет снес в НКВД: «Смотрите, какой тип, на все способен». Про Нинку и про нашу любовь и не заикнулся, зато сказал, что я живу в Ветошном переулке, возле Кремля. Намекнул, что, мол, опасно, ждите всего. А я, карасик, только в тюрьме понял сволочный план этого изверга. Жилье, мое, как видите, сыграло немаленькую роль. Вот и дали Коленьке Бакину по статье КРА три годика исправительного лагерчика. Перевоспитывайся, Коленька, берись за тачку и за разум.

Колька снова дернулся, стал скрипеть зубами. Володя слегка ударил его, он успокоился.

— А ты на следствии не рассказал про Нинку и про ее отца?— спросил я Колю.

— Они и слушать не захотели. Лягавый толстячок с тремя шпалами быстренько написал протокол, и все. Сказки твои, говорит, нам не рассказывай. Мы не дети.

— Нина-то знает о твоей беде?

— Узнала от моей мамы. Добилась свидания каким-то образом. Так рыдала на свидании, так рыдала! «Буду ждать!— кричит.— Буду».

— Тебе бы дать не три года лагеря, а хорошую порку!— с досадой высказался Володя.

Коля удивился:

— Ты так считаешь? За что же порку? Ведь не подумал я про портрет. Я на Нинку обиделся в тот момент. А что в Ветошном жилье у нас, так разве есть в этом моя вина? Ну, переселили бы в другое место, в крайнем случае. Мама не отказалась бы.

Мы с Володей молчали. Что тут скажешь?

— Убегу я,— заявил Коля.— Она меня ждет, а я несусь черт знает куда! Вот увидите, убегу!

— Ну и дурак!— рассердился Володя.— Поумнеть тебе надо, а не бегать. Вернешься, предположим, через три года, тебе стукнет двадцать два. Это уже возраст приличный. Вернешься и заберешь у этого подльца свою Нину. Надо набраться терпения, понял?

Володина речь, по чести сказать, звучала неуверенно, и Коля только хмыкнул в ответ. Выпрыгнул на свободную площадку между нар и закричал:

— Граждане-товарищи, холодно! Выходите на разминку, вызываю желающих побороться, потолкаться. Довольно нагуливать жиры.

ПИСЬМА

Нагой по пояс Володя Савелов упорно, бесконечно долго раскачивается корпусом, машет руками, подскакивает на пружинистых ногах. Могучие выдохи превращаются в белые облака. От Володиного мгновенно замерзающего дыхания мне, лежащему под одеялом и пальто, становится не по себе. Я закрываю глаза и стараюсь отвлечься. Понимаешь, нет никакого вагон-

зака, и Митя Промыслов лежит дома в своей кровати. Он слышит, как осторожно ходит мама, оберегая сон именинника. Да, мне сегодня стукнуло девятнадцать.

— Митя, ты почему не делаешь зарядку?— голос Володи резок и сердит.

— Один раз пропущу, нездоровится,— увертываюсь я.

— В третий раз отлыниваешь, лодырь. А уговор: никаких расслаблений, держать себя в кулаке? Ну-ка, вылезай!

Он безжалостно тащит меня за ногу, я не успеваю ухватиться за посапывающего рядом Петра Вашенко. Ничего не поделаешь, надо брать себя в кулак. Это мои собственные слова.

Оголяюсь до пояса, и мы делаем зарядку вдвоем. Со всех концов проснувшегося вагона летят насмешки:

— В лагере зарядки не потребуется, там есть тачки.

— Они же к рекордам готовятся. Хоп, и двести процентов!

— Тачка, тачка! Ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.

— Смотри, у Володьки желваки по всему каркасу! Даст по скуле, и садовая голова с плеч долой!

— Они аппетит нагуливают, чтобы мерзлая пайка в рот лезла.

Одевшись, мы беремся за остывшую ночью печку. С великим трудом оживляем ее. Три полена дров и уголь запасены дежурными с ночи. Печка быстро делается красной, она пышет жаром. Выставляем на красный круг банку консервов (еще осталось кое-что на дне) и свои пайки. От банки хорошо пахнет, а мерзлый хлеб, еще не отогревшись, начинает дымить. Мгновенно проглатываем по кусочку теплого мяса и половину горело-мерзлой пайки.

Наша возня с печкой подбадривает обитателей вагона, они зашевелились, занялись своими припасами. На площадке между нарами негде теперь повернуться, нам с Володей пора убираться. Но с утра, как всегда, нужно нанести координаты. Вчера кто-то слышал, как снаружи упоминали Кошкуль. Бывалые люди говорят, это около трех тысяч километров от Москвы. Боже мой, куда мы заехали! Покачивая головой,

Володя записывает Кошкуль. Но тут же возникает поправка: проехали Чулымскую, значит, подбираемся к Новосибирску. Исправь, Володя: три тысячи двести.

Хочется объявить друзьям: у меня сегодня день рождения! Нет, не надо! Володя и Петро будут огорчены, что нельзя устроить именины, а Коля начнет шуметь. Пусть день моего рождения пройдет потихоньку, первый раз без подарков и праздника.

Мы с Володей растягиваемся на своих местах. Петро и не думает подниматься. Жрать нечего, лучше уж дремать. Вагон остановится, и тогда волей-неволей конвой поднимет на поверку.

Как хочешь, Петро, ты свободный художник, артист, а мы люди трудовые, нам надо на работу. У меня утренняя смена, несмотря на день рождения. Выбегаю на Сретенку и тороплюсь к трамвайной остановке десятого номера трамвая возле кино «Уран». «Десятый» терпеливо тащит меня по Садовой, Орликовым переулком, Вокзальной площадью и по Русаковскому шоссе до самого завода. За четверть часа до гудка я уже в цеху, сменяю Борю Ларичева.

Володя работает в строительном тресте, строит дома. Я вижу, как он приходит в контору, надевает сшитые Надеждой нарукавники, присаживается к наклонной чертежной доске. Володя считает, что утренний час — самое творческое время, все умное придумывается за этот час. Он трудится, чертит и рассчитывает до тех пор, пока не зазвонит первый телефонный звонок или не придет первый человек (десятник или нормировщик, кто-то из прорабов). После него люди будут приходить без конца. С ними Володя станет обсуждать вопросы производства. Стоп! Подошло время ехать на площадку. У него площадка не одна, и еще с вечера решено, где нужно побывать.

С хрустом Володя сжимает кулаки: чешутся руки, хочется работать. Очень хочется. Нет ничего любимей работы. Кроме, конечно, большой Надежды и маленькой Нади, выплакавших, наверное, свои голубые глаза.

— Володя, расскажи про них.

Мой друг пожимает плечами. И рассказывает скупо, по словечку. Они подружились еще в детском доме. Двое сирот объединились, чтобы никогда не разлучаться. Поступили в один институт и четыре года жили в разных общежитиях. Потом, еще не кончив

институт, Володя устроился на работу десятником. Сняли угол у больной сердитой женщины, жили за громадным гардеробом. Хозяйка рано ложилась спать и заставляла их в закутке гасить свет. Сидели в темноте и не решались даже шептаться, боялись хозяйки.

Надежда ушла в родильный дом, и хозяйка объявила Володе: «Ищите себе другое место». Он искал, просто сбился с ног. И не мог найти. С ужасом ждал дня, когда придется забирать из роддома большую и маленькую Надежду. И вдруг — счастье! Такое бывает только в сказке. Пришел в контору, его встречают аплодисментами, как тенора. Радуются: оказывается, выхлопотали ему жилье, небольшую комнату в старом доме на Таганке.

Володя купил обоев и красок, сам отремонтировал свое жилье. Устроил детский уголок, нарисовал на стене разных зверюшек. Ребята помогли добыть кое-какую мебель и подарили кровать с сеткой. Надежды въехали в дом, словно принцессы.

Рассказу товарища помешал Гамузов.

— Володя, ты хорошо говоришь про жену, — вступил он в наш разговор. — Очень хорошо. Но я с тобой не согласен, понимаешь? Женщине разве можно верить? Ей нельзя верить, понимаешь? У меня была девушка, я ей подарки делал, она ласково говорила: люблю тебя и какая я счастливая. Так? Потом я уехал учиться, и она, понимаешь, изменила. Все женщины такие, понимаешь, Володя...

— Анатолий, заткнись! — советую я.

— Что значит заткнись?! Почему заткнись? Надо правду сказать!

Но Гамузову пришлось заткнуться, он разом как бы поперхнулся. Догадываюсь: Володя поднес к его огромному носу свой авторитетный кулак.

— Мы счастливые были, мы были такие счастливые! — прошептал Володя. — Надежда смотрела на меня и спрашивала: «Володя, это и есть счастье, правда?»

Первый раз Володя разговорился. Я слушал и переживал. Этот осел Гамузов зря сунулся в разговор, хорошо, что Володя не обиделся. Потом мы долго молчали, я пытался представить себе его комнату на Таганке, Надежду-большую и Надежду-маленькую.

— Митя, ты за Советскую власть готов жизнь отдать? — спросил неожиданно Володя.

— Готов,— отвечаю, не задумываясь.— Странный вопрос.

— Да, ты прав. Вопрос странный,— согласился Володя. Чувствую, как он своей большой горячей рукой берет мои пальцы и стискивает.— Я вот так же сказал следователю: странный вопрос. И еще я ему сказал слова покрепче. Он спросил меня иначе: «Ведь не приходится ждать, что вы жизнь свою отдадите за Советскую власть?» Я его обозвал сволочью и гадом.

— Правильно!

— Он полез с кулаками, не согласился со мной. А я не переносу, когда лезут с кулаками, отвечаю тем же. «Я член партии, слышишь, сыщик!»— кричу ему. «Знаю, ты в партию просочился, вражина! — шипит он.— Шалишь, не пустим!» И в карцер меня. Пролежал, вернее, простоял неделю на мокрых ледяных камнях, думал, подхвачу воспаление. Вот тебе, Митя, и странный вопрос. Этот вопрос я себе и раньше задавал, и теперь задаю. Советую и тебе почаще спрашивать себя: готов ли ты, Митя, жизнь отдать за Советскую власть?

Удивляюсь, Митя: почему такое недоверие и злоба, почему предубеждение к любому слову? И не докажешь, что ты не верблюд. Чекисты — меч революции. Почему они бьют своих? Кого ни послушаешь: несправедливое следствие, беззаконие. Откуда взялась эта бессовестная дублика, которая мнет и давит таких, как мы? Гордятся, что им поручена расправа с врагами. Они первые должны были ужаснуться: откуда столько врагов? А у них одна забота — как бы кто не оправдался! Мой следователь чего только не лепил! «Корень вашей деятельности в прошлом». — «Чем не нравится мое прошлое?» — «Беспризорник, детдомовец всегда в лес смотрит. Вот и докатились». Я учился и работал, ни дня, ни ночи покоя себе не давал, тянулся к будущему. «Докатился!» Я горжусь, что я, детдомовец, окончил институт, в партию вступил. Ведь мечтал об одном: как лучше помочь моей партии, мсей Советской власти. А он, гад, все оплевал, испоганил. Вот ты и скажи: зачем это, кому надо?

Больше я не могу так: лежать и разговаривать! Не могу, не могу, не могу! Надо что-то делать! Я вска-

киваю и стучаюсь затылком о верхнюю нару. Тру свою глупую башку и кричу:

— Володя, нельзя же терпеть это, нельзя спокойно лежать и разговаривать! Володя, нас учили в школе и в комсомоле бороться, отстаивать свою точку зрения. Наверное, враги какие-то действуют, Мякишев прав. Надо бороться.

— Как бороться, с кем именно, Митя?

— Надо писать, надо протестовать...

— Кому писать, дурачок? Куда?

— Как куда? Советской власти... Правительству, в ЦИК. Калинин, Сталину...

— Не дойдет,— уверенно заявляет кто-то в вагоне.— Думаешь, не писали? Думаешь, один ты такой умный?

— Не один, тем лучше. Каждый из нас должен писать. Другим писать, людям, которым веришь.

— Блажен, кто верует...— говорит вагон.

— Молчи! Парень прав... Нельзя смиряться!

— Пусть пишет, хотя вряд ли поможет... Письма такие пропадают.

— Только не вздумай конвою отдать свои протесты,— вразумляет многоопытный и бывалый вагон.

— А как же, если не конвою?— недоумеваю я.

— Ох, простота!— стонет вагон.— Почта у нас одна: бросай своего голубя, когда подъезжаешь к станции или отъезжаешь от нее. Кто-нибудь обязательно поднимет и опустит в ящик. А если на самой станции кинешь, часовой увидит. Да и не подойдет к вагону прохожий, побоится. От часового твое послание пойдет к тем, кто тебя сюда упрятал.

— Значит, бросить, когда будем подъезжать к станции? А если не поднимут?

— Поднимут. Почти всегда поднимают. Люди же кругом.

— Пиши на всякий случай по три письма, по три заявления. Одно пропадет, другое легашам в руки угадает, третье дойдет. В лагере не пожалуешься, от туда заявление не пошлешь. Так что пиши, паренек, не ленись. Ты ведь ничем не рискуешь. Хуже не будет.

— Не скажи, бывает и хуже. Этот срок не успел распечатать, а тебе новый быстренько пришлют. Нельзя протестовать, нельзя писать. Дали тебе пятерку, скажи спасибо, что не восемь и не десять. Пишешь,

значит, не согласен. Ах, вы не согласны с органами! Натe, возьмите еще трояк или пятерку!

Странные вещи говорит вагон, дико слушать. Окажется, человека можно поднять среди ночи с постели, сунуть за решетку и потом лишитъ права жаловаться...

— Писать?— спрашиваю я у Володи и стараюсь увидеть его глаза — серые, умные, честные глаза друга.

Володя говорит: писать. Он человек действия, и больше слов от него не дождешься. Зато действует он быстро: добывает бумагу, очиняет чернильный карандаш и тянет меня на бельэтаж, на верхние нары, к свету.

— Пиши, Митя,— говорит он,— пока остановка.

И я пишу письма и заявления. Письма — родителям и друзьям, заявления в ЦИК, в прокуратуру, в ЦК комсомола. Довольно долго я пишу, хозяева мест у окошка скандалят, но Володя как скала.

— Не обращай внимания на этих сявок,— успокаивает он меня.

Мы убеждаемся: за один прием с задачей не справиться. Спрыгиваем вниз, жуем пайку, пьем кипяток и опять забираемся к окошку.

Кончается мой день, тюремный день рождения. А ночью во сне я все пишу и пишу свои письма. Все горит во мне. Днем я снова пишу и пишу, на каждой остановке. Не успокоюсь, пока не отправлю. Пишу по три письма, по три заявления, не меньше. Володя не устает меня одергивать:

— Яснее пиши, не торопись, следи за почерком.

И я переписываю листочки заново.

Мой пример взбудоражил кое-кого в вагоне. Выпрашивают бумагу, ждут, когда я закончу свои писания и освобожу место.

— Что ты канителишься? Давай быстрее.

А Володя говорит свое:

— Не торопись, дело серьезное.

У него в руках уже несколько моих посланий, он сам их укладывает треугольниками.

— Ну-ка, прочти это письмо,— командует Володя.

— «Дорогой мой друг Боря,— читаю я тихонько.— Меня постигла беда. Я арестован без всякой вины. Меня осудили без суда на три года, и сейчас еду в тюремном вагоне в лагерь — отбывать срок наказа-

ния. Пишу тебе и другим друзьям, чтобы вы знали: я ни в чем не виноват, был и остаюсь честным человеком, комсомольцем. Хочу подробно описать допросы и все мои злоключения, ты сам поймешь: происходит недоразумение. Мы в тюрьме считаем, враги творят беззакония. Надо, чтобы об этом узнали в правительстве. Надо протестовать...»

Наконец мои письма готовы. Теперь мы ждем большую станцию. Целый день поезд останавливается на разъездах, на маленьких станциях, не внушающих доверия. На следующее утро оказываемся на станции Яя и решаем — здесь!

— Два «я» — это внушает доверие, — улыбается Петро Ващенко.

Ждем, жадно ждем, когда состав тронется. Ждать приходится долго, несколько часов, сил нет ждать. Мы лежим на своих местах внизу. Вот вагон заскрипел, закричал, залязгали колеса. Пора!

— Подожди, не торопись, — сдерживает Володя.

Потом он чуть подталкивает меня в спину. Я кидаясь к окошку и один за другим, один за другим бросаю треугольники. Мои письма на волю — голубями, голубьями надежды! — летят, трепещут в воздухе и опускаются на землю. Пусть их поднимет добрый человек!

— Теперь ты пиши, — заставляю я Володю.

Я отправил своих голубей, и мне стало легче. Видно, у меня такой характер: делу только начало, а я уже радуюсь, будто довел его до конца. Письма еще лежат на земле, они еще не попали в руки хорошего человека, они долго еще будут идти. А мне уже сделалось веселее. Оптимист ты, Митя.

Шутки шутками, но отныне я буду неотступно, днем и ночью, каждый час думать о своих письмах. В тысячах вариантах буду представлять себе: вот неизвестный поднимает с земли конверты, рассматривает и опускает в почтовый ящик.

Сколько идет письмо до Москвы? Считай, столько, сколько идет до Москвы поезд. Сколько идет поезд? Если вроде нашего, то долгонько, мы едем восемнадцатый день. Пассажирский от Владивостока до Москвы — целых девять суток. Отсюда — четверо, не меньше.

Хорошо, пусть неделю летят мои голуби до Москвы. Через неделю, через шесть дней, через пять, через четыре дня, через три, через два, через один, сегодня мои письма попадут в руки отца и мамы, в руки товарищей. Как будут потрясены они, получив мои измазанные треугольники (ведь им пришлось изрядно повалиться, пока их подняли). Как взволнуется мама! Пусть лучше письмо попадет к отцу, если он, конечно, приехал.

Мысль об отце самая мучительная. Что он думает обо мне? Я подвел его, наверное. Он старый большевик, а сын угодил в тюрьму. От этого можно умереть. Но он не поверит, никак не может поверить. Он меня знает, я все равно, что он сам. А теперь он узнает обо мне из письма. И начнет хлопотать.

Друзья тоже не останутся в стороне. Боря Ларичев получил письмо утром и, хотя он только пришел с завода и выходить ему в ночную смену, сразу же собрался и побежал на завод. Надо немедленно показать письмо Ване и Дронову.

— Видишь, мы с тобой говорили, что с Митей произошла какая-то ерунда! Так и есть.

Ваня в ответ тоже вынимает из кармана письмо. Они советуются, как лучше действовать. В цех приходит Дронов — тоже с письмом. Теперь они советуются втроем. Решено: Борис, поскольку он свободный, пойдет узнавать, какой порядок существует для заявлений. А еще лучше узнать адреса, Борис поедет, все выяснит и опустит заявление в ящик (там вроде бы висят ящики). Дронов же с письмом, которое адресовано ему, и с заявлением Мити, вложенным в конверт, пойдет на прием (слышали, что есть приемная у Калинина, в прокуратуру тоже, наверное).

— Нужно хорошую характеристику от завода приложить, — говорит Борис. — Мы, слава богу, знаем Митьку как облупленного.

— Характеристику подпишет Пряхин — от дирекции, я — от месткома и Курдюмов — от комсомола, — рассуждает Дронов. — Мы тоже, слава богу, его знаем.

— А согласится подписать Курдюмов? — сомневается Ваня.

— Ты с ним поговори, он тебя послушается.

— Он и так подпишет. Разве Коля не знает Митю? Он же его принимал в комсомол.

Вот так я представил себе, как мои письма пришли к друзьям.

Теперь, спустя много лет, жена спрашивает:

— А на самом деле как было? Ты знаешь?

Да, я знаю. Почти все письма попали в добрые руки и дошли по адресам. Недаром я писал с запасом: одно пропадет, второе пропадет, третье достигнет цели. И домой, и к друзьям прилетели все мои голуби.

— Ну а родители? Что им удалось сделать? Ведь отец многое мог.

— Его арестовали раньше, чем меня. По дороге в командировку.

— За что же его?

— Он был реабилитирован после, в 1955 году... значит, ни за что. Ничего не удалось узнать толком. Будто бы заступился за невинно пострадавших. Больше мы отца не видели. Даже и не знаю, сказали ему о моей беде или нет.

— Боже... Как же мать перенесла...

— Мать получила мои жалобы, собралась с силами и пошла по своим друзьям. Она очень надеялась на одного из товарищей отца. Он был известным человеком. Прочел мои послания, вздохнул и сказал: «Все бесполезно. Я не буду хлопотать и тебе не советую».—«А Митя пусть сидит?»—«Мите не поможешь».—«Но как же с этим примириться? Лучше не жить. Наша власть не должна, не может так поступить с чистым, хорошим мальчиком!»—«Думай, как хочешь. Я тебе все сказал. И имей в виду: я ничего тебе не говорил».

— Митя, я прошу. Очень прошу. Хватит, не терзай себя.

— Ничего. Считай, все уже давно перегорело. А ты должна знать... Сыновья тоже, со временем. И я хочу тебе сказать. Я счастлив, что друзья не побоялись вступить за меня, не захотели остаться в стороне. Следовательно понимал, чем можно прикончить меня, когда утверждал: «Они отреклись от вас».—«Не верю я, не верю!»— кричал я. «Можете не верить, но они отреклись».

На миг я смутился: а вдруг пучеглазый говорит правду? Было же у нас на заводе в тридцатом году,

когда мы отреклись от товарища за то, что он скрыл свое социальное происхождение. Осудили его, даже не поговорив с ним. Его прогнали с завода, и он исчез без следа.

Моим друзьям пришлось туго. Коля Курдюмов провел на собрании мое исключение из комсомола и дико разозлился на Борю и Ваню, когда они пытались заступиться. Конечно, не захотел подписывать характеристику, требовал, чтобы Ваня и Боря не вмешивались. «Наши органы зря не посадят!— кричал он.— В душу человеку не влезешь. Казался хорошим, оказался гадом! Вообще очень уж он ершисто всегда держался, ваш Митя. Вон у него и отец сидит. Бросьте вы это дело».—«Бросать нельзя, Коля. Это наш товарищ,— негодовал Борис.— Тем более надо ему помочь, если с отцом беда».

А Курдюмор проявлял бдительность: «Враг хитер. Враг сумел повлиять на многих».—«К Мите это не относится»,— сказал Ваня. «Ты тоже поддался на удочку?»— набросился Коля на своего ближайшего помощника. «Я не верю в Митину вину, я тоже за него ручаюсь».—«Ну, смотрите! Пожалеете потом!— пригрозил Коля.— Придется и вас обсудить».

И в завкоме, несмотря на авторитет Дронова, не поддержали ходатайства моих друзей. «Очень уж вы его тут расписали, прямо орден ему давай».—«Но ведь правда. Митя заслужил такую характеристику».—«Ох, лопухи! Он же притворялся, а теперь его разоблачили. Вы же не знаете, что он натворил, может, он из тех, кто стрелял в Кирова».—«Стыдно вам наговаривать на Митю Промыслова!»—возмущались ребята. Но с ними не захотели больше разговаривать.

Характеристики и прошения подписали на свой страх и риск Пряхин и Дронов. Ребята тоже поставили свои подписи: «Б. Ларичев, И. Ревнов». Они приложили эти бумаги к моим жалобам и отнесли в прокуратуру. В Центральном Комитете комсомола с ними разговаривал угрюмый и не очень молодой человек. Он сердито сказал: «Чекисты знают, что делают. Какие же вы комсомольцы, если не верите чекистам?»—«Мы верим чекистам, но случилась ошибка».—«Ваши бумаги я брать не буду, и вообще считайте, что вы к нам не приходили». Ребята потребовали дать ход жалобе. Угрюмый записал их адреса

и многозначительно сказал в заключение: «Ну, смотрите».

Дронову пришлось долго стоять в очереди на прием, но свидания с Калининым он так и не добился: Михаил Иванович болел. Бумаги принял один из референтов и неопределенно пообещал: «Доложим». Дронов вспомнил про своего дружка по 1-й Конной, занимавшего ныне высокий пост. Свидание было теплым, товарищ внимательно все выслушал и просмотрел бумаги, однако помочь ничем не смог. «Знаешь, Григорий, это не по моему ведомству. Толку не будет, если я встряну».

Нет, не зря, не зря я посылал из вагона своих голубей, не зря. Освободить меня друзьям не удалось, но разве это их вина? Они не побоялись риска и неприятностей. За все это им земной поклон.

И я верю: таких людей было много. Они тоже не смогли остаться в стороне, получив письма от своих друзей. Им тоже земной поклон!

Раньше я спрашивал себя: интересно, что все-таки делали в разных приемных и канцеляриях с нашими письмами и жалобами? Сжигали их, что ли, не читая? Или подшивали к делу?

Я спрашивал себя: что за люди занимались этим? Взглянуть бы в их лица. Взглянуть и спросить: как это вы могли спокойно разглядывать, читать, подшивать в папки или сжигать наши окропленные кровью письма, наши отчаянные жалобы, наши вопли и стоны?

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: ВОРЫ!

Петров Иван, 41 год, сторож, он же вор;

Редько Валентин, 23 года, шофер, он же карманный вор;

Костин Сергей, 21 год, разнорабочий, он же наводчик;

Кулаков Афанасий, 26 лет, кладовщик, он же домушник;

Мурзин Петр, 22 года, дворник, он же взломщик.

Эта пятерка воров, или уркаганов, или блатных, или «человеков» (как они сами себя называли), или «тридцатипятников» (по номеру статьи Уголовного кодекса) размещалась над нами, на верхних, «аристо-

кратических» нарах, которые они сразу по-хозяйски освоили в минуты общей растерянности при посадке этапа в вагоны. Кроме урок наверху лежали «язычники» Бакин Коля, Феофанов Паша и Кокин Лева; о них я уже рассказывал, поэтому их нет в списке. Девятого я просто не помню.

Среди урок выделялся их главарь, или пахан Петров, он же Ганибесов, он же Мухортов. Собственно, рассказать надо именно о нем, так как остальные, хотя и обладали воровскими квалификациями и стажем, во всем ему подчинялись и свои делишки обделывали по его указке. Как я понимаю, Петров был опытным рецидивистом, жизнь его проходила лишь днями на воле и долгими годами в тюрьме.

Понятно, люди отличаются друг от друга, один на другого не похож. У воров нашего вагона мне хочется отметить то, что делало их похожими. Я имею в виду не общую для всех привычку к жаргону, при которой «человеки» забывают родной человеческий язык ради «фени». И не их свойственную большинству постоянную готовность к истерии и наигрышу, способность в любой момент взбелениться. И не одинаковую у всех развинченность походки и движений, и любимый костюм, в котором есть что-то от наряда цыган: сапоги с отвернутыми голенищами, длинные рубахи поверх брюк с веревочными поясками, жилет без пиджака. И не нарочитую браваду, внешнюю грубоватую независимость при всегдашней внутренней настороженности.

Гораздо важнее другое — единый и похожий путь от законной жизни к паразитизму уголовной среды. Общая у всех психология: нынче гуляй, завтра — неизвестно. Неизбежные, сколько ни хорохорься и ерепенься во хмелю, страх и тревога за следующую же минуту существования. Общее неверие в иную судьбу, неверие в возможность оттолкнуться от зыбкого берега блатных и приплыть к твердому берегу честной жизни.

Володя Савелов очень сердился, когда я начинал рассуждать о ворах как о социальной беде общества, о жертвах войн и трудных годин разрухи. Он не хотел задумываться о причинах, сделавших обычного человека отщепенцем.

— Для меня жулик и буржуй одно и то же, — го-

ворил Володя.— Оба паразиты, жулик, по мне, даже хуже. Жулик всегда трутень и разрушитель. У нас возятся с урками, заигрывают с ними, перековывают. Урки пользуются этим и потихоньку смеются над своими воспитателями. Я твердо знаю: никакая перековка жулика невозможна! Человек по природе честен, и быть честным не должно составлять усилий.

— Ты сам себе противоречишь,— спорил я.— Если человек честен от природы, откуда же воры вообще?

— Откуда? Ты осел,— возмутился Володя.— Быть честным — значит трудиться каждый день. Легче воровать. Раз удачно украл — неделю или даже месяц хорошо живешь. Самое страшное в воровской кодле — это ее зараза, влияние на молодых.

Володя говорил с волнением, необычным для него. Я даже поразился. Видно, он когда-то хлебнул горя с урками.

Обычно жулики неохотно рассказывают о себе, стараются от вопросов отделаться насмешкой. Ко мне они относились хорошо за чтение стихов Есенина, которого считали своим поэтом и любили рассказывать о нем разные легенды. Мое любопытство забавляло жуликов. Да и атмосфера общей откровенности, видимо, влияла и на них.

Костин и Редько не помнили своих родителей — были детьми войны. Мурзин ушел из дому, так как у матери он был шестой — надоело голодать, отец погиб в гражданку. Кулаков Афанасий удрал от махехи. Все они прошли школу беспризорничества, детские приюты и детдома. Все побывали в колониях для несовершеннолетних. Все с детских лет прошли выучку у старших урок, начинавшуюся с пустяков: «Дам десятку, если окажешь маленькую услугу». Довольно быстро приходила сноровка.

— Приемы такие: в одной руке шило, в другой безопасная бритва и чтоб кругом тесно, толкучка,— ухмыляясь, рассказывает Редькин.— Попался, сразу реви во весь голос: нет матери, нет отца, три дня ничего не ел. И слезы, чтоб были самые натуральные, тем более травишь ведь сущую правду. Когда верят, когда нет. Когда не верят, ведут в милицию — значит привод, посылают в детдом на перековку.

— Вот и хорошо, детдом плохому не учит.

— Но нужно сидеть за партой, нужно работать.

А не работать и не учиться легче. Когда ты с воровской кодлой, жить веселее. Каждый день кому-нибудь да пофартит, вот и гуляем всей ватагой. Хорошая еда, самые лучшие папиросы. И никакой работы! А работа, она всегда трудная, и, сколько ни работай, на хорошую одежду, на выпивку и на еду по вкусу не заработаешь. Ты говоришь, детдом хорошо. Но только ты туда попал, сразу же тебя подбили на побег.

— А дальше?

— Что дальше? Дальше тюрьма. После нее ты навеки привязан к кодле. От нее можно уйти только на тот свет. И милиция тебе не поверит, даже если решил начать новую жизнь. Они все о тебе знают, каждый рисуночек твоего пальца. Бывает так: ты после тюрьмы еще не отдышался, решил от своих оторваться, еще не успел ничего плохого сделать, а к тебе уже идут. Кого-то обокрали в окрестностях — ты виноват, на тебе же вывеска: сидел в тюрьме.

На вопрос о специальности отвечают с гордостью:

— Я наводчик, он светляк, дневной вор.

— А не воровские специальности? Нормальные профессии?

— Как же не быть! Есты! — переглядываются и смеются.

— Что смеетесь-то?

— Да ведь нормальные профессии, они у нас тоже воровские!

— Как так?

— Так. Вот я шофер, права имею. Это для того, чтобы машину обеспечить, нужную для дела. А другой — водопроводчик. Чтобы от имени домоуправления зайти, проверить и починить водопровод.

— А я по профессии слесарь, — сказал Кулаков, и урки заржали.

— Что они? — спросил я у Редько.

— Да по-нашему «слесарь» — это квартирный вор.

Терпения у блатных для разговора или для чего-нибудь серьезного надолго не хватает. Беседа обычно заканчивается предложением «отчепиться», «отзынуть» или «отсекнуть на три лаптя». Кулаков Афанасий вообще не одобряет откровенности с нами, не урками; прислушивается к разговору с подозрительностью, всячески пытается помешать.

— Ты лягавый, что ли, все выпрашиваешь? — с

презрением бросил он мне, когда я поинтересовался, в чем суть его дела.— Вы, политики, промеж себя все калякаете: «Мы невинные, нас ни за что». Вот и мы невинные, ясно тебе? Мы государство никогда не трогаем, частной собственностью занимаемся. И хватит барнаулить. Хряй в свой подпол.

Я намеревался рассказать про пахана-папашечку и увлекся его детьми.

Иван Петров, он же Павел Ганибесов, он же Фома Мухортов, на первый взгляд тихий, застенчивый человек. Худой до истощения, с провалившимися щеками, ярко-синими глазами и рыжеватой шерстью на лице, в старом замурзанном бушлате, такой же телогрейке и ватных штанах, в резиновых сапогах, он вызывал сочувствие. Его жалели, когда он подходил и молча глядел в рот человеку, явно желая присоединиться к его трапезе. Поймав взгляд, виновато объяснял:

— Я прямо из тюрьмы сюда, у меня нет ничего, ни сармаку (денег), ни жратвы, ни лепехи (костюма).

Его «застенчивость» быстро соскакивала. Присловие «я из тюрьмы» звучало уже иначе:

— Я тебе по-хорошему говорю, дай, я же из тюрьмы. Ну!

По всем своим ухваткам и приемам Петров был паханом. Молодые урки сразу признали за ним право командовать и распоряжаться добычей. Сам Петров не воровал, но всегда вмешивался, когда возникали конфликты, а они возникали частенько, так как от просьб и деликатного паразитизма урки быстро перешли к активным способам. Обитатели вагона видели у Петрова или его подручных свои вещи, но сказать об этом не решались.

Стащить что-нибудь было не так-то легко — вещи у каждого лежали в головах. Однако шамать хотелось и частенько вовремя спохватившийся хозяин тянул банку консервов или кусок колбасы к себе, вор— к себе. Петров прибегал на скандал и уже не упрасивал, а рычал:

— Отдай, сука, а то выну перо!

В Петрове при всем том удивляли детскость и невежественность дикаря. Воровской быт останавливает людей в развитии. Они замыкаются в своей среде,

где изощряются только инстинкты непосредственной борьбы за существование. Петров — пожилой уже человек — напоминал малого ребенка наивностью, острым интересом ко всему новому, непривычному. Ограниченность быта кодлы, естественно, должна обострять интерес ко всему, что лежало за ее пределами, пока не наступает обязательная очередь тюрьмы.

Я замечал, Петров, как дикарь, не сводил глаз с Петра Ващенко, поющего песни; он знал другие — блатные и похабные. Песни Петра были совсем иные. Читая стихи Лермонтова, Блока или Маяковского, я ловил потрясенный взгляд Петрова. Это было первобытное удивление: как это парень наизусть читает складно такие красивые слова? Откуда он их берет?

Всех возмутил, а меня растрогал забавный случай: пахан буквально влюбился в шубу инженера Ланина — одного из бедолаг нашего вагона несчастий.

Инженера Ланина арестовали, видимо, на службе или в состоянии крайней растерянности. Иначе он подумал бы о том, что шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником и к тому же боярская бобровая шапка вряд ли подходят тюрьме. Мех с хвостиками буквально потряс главаря наших урок. Он садился рядом с лежащим на нарах Ланиным, отворачивал полу шубы и с нежным изумлением начинал играть хорьковым хвостиком, гладить мех. По синим глазам жулика, по всему его присмиревшему виду можно было понять, как он мечтает о такой шубе.

И случилось удивительное: пахан получил шубу и шапку. Петров однажды сказал, нет, не сказал — вздохнул:

— Мне бы такую! Я бы...

И Ланин, которому не только шуба, но вся жизнь была не мила, равнодушно предложил:

— Возьмите, ради бога. Но дайте что-нибудь взамен.

Вне себя от счастья, пахан сорвал с себя бушлат, телогрейку, шапку, надевал шубу и шапку, бормотал:

— Уж я тебе отплачу! Век свободы не видать, при всех говорю. Я тебе продуктами отплачу, вот увидишь.

Ланин, переодевшись в чиненое-перечиненое обмундирование, махнул рукой и опять улегся на свое место. А Петров, странно потешный в громоздкой шу-

бе и островерхой шапке, похожий на карикатурного царя из сказки об Иванушке, упоенно разглядывал неожиданное приобретение.

Однако счастье его длилось всего две-три минуты. Володя, старик Мякишев и еще кто-то, не сговариваясь, заступились за владельца шубы. Они так решительно подскочили к Петрову, что ни он сам, ни его подручные не сопротивлялись.

Шуба и лагерное рванье вернулись на исходные места, причем если Петров не сказал ни слова, то Ланин досадовал:

— Черт с ней, с шубой. Охота вам!

Видела бы ты лицо Петрова, его синие глаза, изумленные и горькие глаза ребенка, лишившегося дивной игрушки. Из потешного сказочного царя он опять превратился в жалкого, тощего жульмана. С натугой забрался на верхнюю нару и немедленно излил обиду и горе грустной песней, затянутой хрипловатым бесцветным голосом и подхваченной сразу же крикливыми голосами подручных.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК КРИЧИТ ВО СНЕ?

— Что ты кричишь так, а? Что кричишь? Обалдел совсем?

Это вскакивает с нар и громко ударяется башкой о верхние нары Гамузов. Потирая затылок, вне себя от злости, выговаривает:

— Ужасный крик поднимаешь! Люди хотят спать. Всем тяжело, понимаешь? И все терпят, сдерживаются. И ты сдерживайся, понимаешь.

Я не сразу соображаю, что Гамузов обращается ко мне.

— Молчи, не трогай его, пусть спит,— тихо говорит Володя. Он сам не спит, я знаю. Он все думает и думает о семье, оставшейся без кормильца. Володя теснее прижимается ко мне, обнимает и говорит:— Ему снится свобода, поэтому он и кричит.

— Нам всем только снится свобода!— тенором затягивает на весь вагон Петров.

— Перестаньте вы, черт возьми!— возмущается кто-то в темноте.

Чтобы не потревожить Володю, так и лежу с мокрым лицом, не шевелюсь. Пусть думает, что я не

проснулся. Да, Володя угадал: мне снилась свобода.

...Со Сретенки я свернул в свой Сухаревский переулок и сразу увидел наш старый, с облупившейся штукатуркой, давно не крашенный дом. Кто-то бежит мне навстречу. Мама! Волосы ее треплет ветер. И я ускоряю шаг, почти лечу. Чувствую, меня преследуют какие-то люди. Их военную форму я угадываю под штатским пальто. У них, наверное, ордер на мой арест. Надо успеть встретиться с мамой, надо успеть! Преследователи меня нагоняют. За ними — я вижу, не оглядываясь — мчится машина. Митя, убегай, сейчас тебя посадят в «черный ворон»!

Я уже не вижу мамы. Но военные не исчезают, они рядом, они за моей спиной. Вот они хватают меня. Все, я потерял маму и наш дом! В вагоне раздаётся вопль... Все просыпаются и молчат.

...Легкое колыхание, издали наплывающее видение, которое потом обретает реальность. Я в каком-то чужом доме. Натертые, скользкие, будто полированные полы. Рояль, за ним гладковолосый парень. Кто же это? Гладковолосый играет и поет, часто оборачивается. И я вижу на диване Машу в длинном темном платье, на груди в вырезе платья — медальончик на цепочке. Я знаю, это подарок ее матери, внутри медальончика малюсенькая фотография: Маша трех лет.

Возле Маши какой-то мужчина, у него крупная голова с волосами мелким барашком, большие нагловатые глаза. Он их не сводит с нее. Я узнаю теперь: это Левушка, мой недруг и Машин бывший ухажер. За роялем — Артур, второй мой недруг и тоже бывший Машин ухажер. Она так их и называет: «Мои бывшие ухажеры».

— Ты же говорила: я не хочу их видеть! Мама! — кричу я.

Но я не кричу, у меня пропал голос.

Сквозь туманную дымку наплывает новое видение. Много людей за длинным столом, и среди них Маша между Левушкой и Артуром. Левушка улыбается толстогубым ртом, что-то острит и берет Машину руку в свои ручищи. А она сидит, отчужденная от общего веселья, задумчиво и печально ее лицо.

— Маша, оглянись, я здесь! — кричу я и сам не слышу себя.

Я рвусь из невидимых пут, бегу к столу, чтоб увести Машу, сказать ей: я здесь, я здесь! И снова все расплывается.

— Я потерял Машу!— кричу изо всех сил.

И опять вагон, содрогнувшись от дикого вопля, не протестует. Только Гамузов возмутился, вскочил и снова ушиб голову о верхние нары.

...Больше не могу спать. И не могу пошевелиться, чтобы не потревожить соседей. Володя дышит чуть слышно, а Петро изредка всхрапывает. Черти, они здорово стиснули меня с двух сторон, правая рука заныла.

Вспоминаю историю с рукой, которая случилась год назад на заводе. Я тогда внес предложение, оно улучшало метод получения салола. Мне разрешили проводить опыты в заводской лаборатории.

Я приходил с утра в своей замызанной спецовке и начинал настраивать прибор. Меня только смущали иронические, как мне казалось, взгляды лаборанток. Но в то утро в лаборатории никого не было, все ушли на производственное собрание.

Мое громоздкое сооружение из стекла в порядке — реторта, холодильник, уловители в виде соединенных между собой колб, паутина стеклянных трубок. Подставляю под реторту горелку и поджигаю газ. Реакция начинается. Замечу время и буду терпеливо следить.

Так я стою в пустой лаборатории и наблюдаю за клокотанием тяжелой маслянистой жидкости в реторте, поглаживая ее горячее округлое стеклянное пузо. Вдруг — такое бывает только вдруг! — прибор мой разлетается и рука попадает во что-то жаркое и тягучее. Потом выяснилось: компрессор выключили, не зная, что я в лаборатории веду опыт и мне нужен вакуум. В реторте мгновенно скопился газ, разорвавший посудину.

Мою спецовку шинельного сукна залило темной жидкостью, я весь дымился. Хотел было спясть ее и почувствовал боль в правой руке. Из бугра большого пальца торчал кусок стекла и довольно энергично бил фонтанчик крови. Стекло я тут же выдернул, кровь пошла еще сильнее.

В растерянности подставил руку под струю воды. Но вода не смывала маслянистой жидкости. Рука

оказалась как бы в темной лопнувшей перчатке. Попытался отсосать кровь — теплый фонтанчик обагрил лицо. Ой, беда! Подняв кверху раненую руку, побежал в медпункт.

С четвертого этажа, где помещалась лаборатория, я мчался вниз через две ступеньки по лестнице. Мой вид напугал поднимавшегося в свой цех Борю Ларичева. Он схватил меня за здоровую руку.

— Не беги так, упадешь! Давай помогу!

Я выдернул руку и побежал дальше, Борис — за мной. По заводскому двору за нами неслись уже несколько человек.

Перепутал дверь и вместо медпункта влетел в кабинет, где Пряхин проводил совещание. Все вскочили с мест, Пряхин, стоящий ближе всех, не дал мне уйти. Откуда-то он выхватил резиновый шланг и крепко, больно прищемив кожу, перетянул руку, чтобы остановить кровотечение. Потом мы побежали с ним вниз по лестнице, раненую руку я по-прежнему держал кверху.

На дворе уже стояла «Скорая помощь». Пряхин усадил меня в машину, сел сам, и мы с воем помчались.

Минута, и мы в больнице. Пряхин что-то кричал тетке в белом халате. Появились еще две тетки в белом. Одна разрежала рукава и стаскивала с меня дымящуюся, едко пахнущую спецовку, две другие занялись рукой. Промыли эфиром рану, копались в ней пинцетом (искали осколки), потом стали зашивать. Шов получился большой, все три тетки качали головами. Дикая боль заставила меня скрипеть зубами, удивительно, как они не раскрошились.

— Рабочий класс! Сила! — хвалили тетки в белом.

Мне было не до них, я думал о своей беде, ведь рука-то пропала. Попытался пошевелить пальцами в толстой, как кукла, повязке, они не шевелились. Я решил: ну, разрезал сухожилие!

Пряхин опять скандалил с теткой, и она велела «Скорой помощи» отвезти меня домой. Мама всплеснула руками, увидев меня.

— Что же это, что же это? — причитала она.

Тогда я и сам не выдержал, всплакнул: как же мне теперь быть с покалеченной рукой? Значит, прощай завод и прощай баскетбол?

Потом все обошлось, рука зажила, пальцы действовали прекрасно. Правда, при резких движениях, при подъеме тяжестей, при ударах по мячу было больно, и я ругал теток в белых халатах: плохо зашили. Позднее при разных обстоятельствах из-под кожи вылезли один за другим три или четыре кусочка стекла.

...Странное дело, я вдруг опять увидел свою толсто забинтованную руку. Она сильно болела. Значит, мне все-таки удалось заснуть?

Слава богу, на этот раз хоть обошлось без крика.

Вагонзак кричал, трещал и мчался в неведомое. Внизу кружились и кружились точильные круги, ставившая наше время и терпение. Я лежал и горько думал: все мое самое дорогое может теперь только приниться.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: КОМИССАРЫ, ПРОКУРОР, ОПЯТЬ ВОРЫ

Фетисов Александр, 38 лет, директор завода, статья 58¹⁰, срок 5 лет; Зимин Павел, 52 года, партийный работник, статья 58¹⁰, срок 5 лет; Дорофеев Федор, 49 лет, прокурор, статья 58^{10,11}, срок 8 лет; Агошин Аркадий, 25 лет, шофер, статья 59³, срок 6 лет; Птицын Михаил, 22 лет, нормировщик, статья 74, срок 3 года; Петреев Степан, 44 года, товаровед, по Указу от 7/8 1932 года, срок 10 лет; Мурашов Евгений, 35 лет, декоратор, статья КРА, срок 5 лет; Голубев Юрий, 20 лет, вор, статья 35, срок 3 года; Мосолов Игорь, 26 лет, бетонщик, он же вор, статья 35, срок 4 года.

Сам не понимаю, почему разговор о «комиссарах» Зимине и Фетисове завожу так поздно, в порядке очереди? Память благодарно сохранила их, ведь они вслед за Володей Савеловым приняли в моей судьбе такое сердечное участие.

Что было бы со мной, если б их и Володи не оказалось в нашем вагонзаке? Возможно, я сшелся бы с урками, наделал бы отчаянных глупостей и погиб ни за понюх табаку. И это, наверное, было бы не самое страшное. Самым страшным могло быть пора-

жение в жестоком душевном испытании, когда верх взяли бы разочарование и я, навсегда ожесточенный, потерял бы веру в человека.

Сейчас почему-то не удается вспомнить, при каких именно обстоятельствах Зимин и Фетисов возникли в моей одиссее (помню же я знакомство с Володей: пересылку).

Живые образы Зимины и Фетисова стоят перед глазами, но рассказать о них не просто. Да, Зимин был хорошим человеком, добрым и очень чистым, даже внешне чистым и опрятным в немыслимых условиях битком набитого людьми грязного вагонзакла. Как передать непосредственное юношеское впечатление от знакомства с человеком не только незаурядным, но и сложным? Почему я, девятнадцатилетний малый, потянулся к Зимину? Не потому ли, что он, подобно Володе Савелову, способен был защитить могучими кулаками? Отнюдь, мои собственные кулаки весили куда больше, к Зимину же скорее подходило определение старика Мякишева: слабосильная интеллигенция.

В нашем вагоне, где физическая сила убеждала надежнее всего, Зимин пытался вернуть нас к нормам общежития и удивлял (а кое-кого раздражал и злил) сердечной заинтересованностью в людях, из которых многие просто отталкивали озлобленностью и цинизмом.

У нас не принято говорить о тюрьме. В самом деле, это же несовместимо — тюрьма и мы. И книг о тюрьме совсем мало, хотя прошли через это многие. Думаю, каждый рассказал бы или написал об этом по-разному. Один про обиженных и сломленных, другой про тех, что сберегли волю и выстояли. Если б мог, я написал бы о людях, которые выстояли сами и помогли выстоять, не сломаться другим.

«Комиссарами» постоянно двигало желание помочь человеку, благородное желание раздуть, разжечь в товарищах по несчастью огонь сопротивления отчаянию! В обстановке изоляции, когда привычные правила жизни сделались необязательными, Зимин и Фетисов оставались людьми партии и, следовательно, считали себя ответственными за судьбы людей, таких же заключенных, как они сами. Личная беда не заставила их отступить от принципов.

Население вагона расслоилось либо по признакам социальной близости (крестьянин тянулся к крестьянину, жулик к жулику), либо землячества (москвич искал москвича), либо исходя из простого соседства по нарам. Зимин интересовался всеми. Он не раз убеждал: неинтересных людей не бывает, надо уметь найти интересное в любом человеке. Первое время Павел Матвеевич прихварывал и лежал, опекаемый Фетисовым (очевидно, поэтому мы с Володей не сразу их приметили). Обычно же он бродил от одного к другому, подсаживался на нижние нары или забирался на верхние, заговаривал, внимательно выслушивал, писал жалобы и письма, вступал в спор и терпеливо объяснял. Поначалу его, естественно, чужались, вежливый очкарик казался странным. Впрочем, сначала все сторонились друг друга, потом привыкли. Привыкли и к Зимину, даже не сердились на его манеру пристально вглядываться в собеседника, вплотную приблизив свое лицо.

Тюрьма причудливо собирает в кучу самых разных людей, и Зимин старался понять каждого. К Володе, ко мне, к Петру относился дружески, отечески. С урками, судя по всему, столкнулся впервые и наблюдал за ними с каким-то ироническим недоумением и сожалением. Лицо Зимины менялось, улыбка пропадала и большие очки начинали поблескивать, когда он вступал в спор с людьми, которых считал противниками.

В один из вечеров мы тихо-тихо беседовали, сгрудившись в кучку, и Павел Матвеевич сказал:

— Здесь, на этапе люди выглядят в настоящем облики. Они словно голые, без одежек. Я, понятно, говорю не про вас. Вот вы, Володя, или вы, Митя, вы здесь такие же, как дома. Уверен, и на следствии были самими собой. А, скажем, жулики или жлобы, они сейчас другие. Приговор объявлен, хуже не будет, зачем притворяться-то? Но, только этап прибывает в лагерь, жлобы натянут свои одежды, будут приспособливаться и хитрить ради лучшего пайка и более подходящих условий. Меня очень огорчает озлобленность и ожесточение, вылезшие вдруг наружу. Такого на воле не увидишь! Правда, людей, привыкших прятать свои скверны, не так уж много в нашей тюрьме на колесах. Большинство не притворяются, это хо-

рошо.— Зимин вдруг залиvisto засмеялся.— Что это я говорю?! Конечно, плохо, что таких, как вы, здесь больше.

Я думаю о Зимине, и его лицо возникает передо мною. Лицо приятное постоянным движением мысли, огоньком ласковой усмешки в глазах. Про такое лицо хочется сказать: доброе. И особенно добрым оно выглядит без очков, хотя Зимин крайне редко их снимает — и в очках-то он плохо видит. Над его слепотой в вагоне постоянно потешаются:

— Смотри, комиссар обнюхивает газету, жди доклада.

Мне очень нравилось, как он смеялся. Вот и сейчас из толщи годов донесся его смех, так беззаветно умеют смеяться только дети и очень хорошие люди. Володя иногда просил меня:

— Выдай какую-нибудь остроту, пусть Зимин посмеется.

Рассказ мой о Зимине выглядит, чувствую, наивно-восторженным. Сейчас мне, пятидесятилетнему, понятно: в нем наверняка не все было так безоговорочно хорошо и ясно.

Некоторые проповеди Зимина мы теперь, очевидно, называли бы догматическими. Но ведь он тратил силы и пыл души не из корысти. Он делал это из желания добра, из твердого убеждения: здесь, в тюрьме, людям особенно нужна правда, а раз так, значит, нельзя оставлять их в заблуждении, нужно переубедить.

Наверное, Зимин был немножко и резонером. Бесценное в нем, как я понимал тогда (и понимаю теперь), заключалось в том, что он в тюрьме остался самим собой — бескорыстным и смелым человеком, верным идеям, всегда готовым помогать людям.

Где работал Зимин до ареста, какой пост занимал, точно не знаю. Фетисов упоминал какой-то наркомат и какой-то научный институт. Это и не столь важно. Важно другое: Зимин для меня пример коммуниста. И Фетисов тоже.

Они познакомились в тюрьме, а нам казались давними друзьями. Так бывает: люди впервые разговорились и сразу сошлись душа в душу. Так вышло у нас с Володей. Редкое согласие «комиссаров» нравилось нам тем больше, что мудрый, спокойный Зи-

мин и быстрый, порывистый Фетисов очень уж были разными.

Фетисов называл себя практиком, он и был человеком непосредственного действия, энергия прямо исходила из него. В отличие от всегда выдержанного Зимина Александр Николаевич был грубоват, в спорах у него нередко прорывалась матерщина. Как и Зимин, он умел разговаривать собеседников, умел хорошо слушать, дотошно допытывался подробностей. Я помню, как он расспрашивал меня про отца, про нашу семью, про завод и про театральный институт.

— Уф, устал,— засмеялся я.— Хватит ваших вопросов. Теперь вы отвечайте.

— У меня, Митя, рассказ короткий: коммунист я до последней капли крови,— сказал он с жаром. И замолчал, думая о чем-то. Даже думал с какой-то нервной силой. Губы терзали махорочную закрутку, темные глаза горели на цыганистом лице.

— И все?

— Разве мало? В твои девятнадцать я на Балтике оказался, фасонил клешем и бескозыркой. Там и в партию вступил.

— Расскажите, ведь интересно.

— Ты небось сам знаешь, какую роль морячки сыграли в революции. Вот и меня считай среди них. Зимний брал, юнкеров бил, Сможный охранял. Ленина посчастливилось видеть собственными глазами.

— И разговаривали с ним?

— Нет, разговаривать не привелось.

— А потом?

— Потом на свой завод вернулся. У меня и отец питерский, только погиб он на войне. Без него завод восстанавливали. Работал я слесарем, хорошо работал, по высокому разряду.

— А потом?

— Партия послала в деревню на коллективизацию.

— А потом?

— Товарищи на заводе выдвинули красным директором. Руководил большим коллективом.

— Александр Николаевич, у вас дети есть?

— Как же без детей? Дочка школу кончает, сынку семь лет.

Он сдержал вздох, поднялся и отошел.

Однажды Володи долго не было на месте. Я заснул, проснулся, снова заснул, а его все не было. Проснулся от Володиных осторожных движений — он укладывался рядом. Сразу почуял: что-то произошло.

— Я уж думал, ты отстал от поезда на станции.

Володя не отозвался на шутку.

— Что случилось?

— Митя! — зашептал он. — Зимин собирал коммунистов. Их мало тут, но они есть.

— Ну и что?

— Зимин сказал: произошла массовая судебная ошибка, но мы остались коммунистами. И должны считать себя как бы ячейкой.

— И что теперь будет, Володя? Что изменится?

— Зимин так и спросил сам себя. Пока нас не выпустят, мы здесь, в тюрьме, будем стараться превратить сборище заключенных в коллектив.

— Ты рад, Володя? — я спросил и почувствовал: вопрос глупый.

— Спрашиваешь! С тех пор как я в тюрьме, впервые ощутил себя человеком. Мы сегодня очень о многом поговорили.

— А как же мы? — я имел в виду комсомольцев — себя, Фролова, Птицына и Феофанова.

— Вы с нами, Митя, с нами. Как и полагается.

Тогда мы не очень-то понимали, почему Зимин и Фетисов очутились в заключении. По репликам, по скупым обмолвкам знали: Зимин — небезызвестный человек в партии, был одним из тех, что подготовили и завоевали Октябрь. С Дзержинским сидел в тюрьме, со Свердловым отбывал ссылку. За что же сейчас кинули его в тюрьму?

Поняв, что за люди оказались нашими товарищами по несчастью, мы часто обсуждали их положение. Личная наша катастрофа словно бы отступала перед их бедой. И я, и Мякишев, и Коля Бакин не раз спрашивали:

— Вас-то за что?

— Преступлений не совершал, честное слово, — отвечал Зимин. — Понимаю так: какая-то дикая ошибка. Ведь за критику, за собственное мнение посадить

нельзя? Верно или нет? Критика — норма поведения для коммуниста. А больше не за что.

— Ну, а вас за что? — обращались к Фетисову.

— Перегиб. Кто-то потерял голову из-за дела Кирова. Я заступился за людей, несправедливо осужденных. Разве это преступление? Ребята, не горюйте: скоро нас освободят. И вас.

— А если не освободят? — приставали мы. — Ни вас, ни нас?

— Тогда, значит, мир перевернулся. Единственно, за что можно посадить его и меня, — за преданность Ленину и революции! — пылко отозвался Фетисов.

Нас радовала их уверенность. Конечно, перегиб, ошибка. Разберутся и освободят — их и нас.

В спорах и перебранках обитатели вагона часто ругали начальство, доставалось всем, даже Сталину. Зимин и Фетисов в любом споре его защищали. В массовых репрессиях они обвиняли органы, прокуратуру, кого хотите, только не его. Зимин убеждал: Сталин не знает о произволе и беззакониях, ему не докладывают всей правды. Говорят об ответных мерах на выстрел в Кирова, но умалчивают, что террор перешел все границы, подозрительность и недоверие распространились вроде чумы и тысячи, тысячи честных людей страдают напрасно.

— Разве забыли, как раньше Сталин исправлял перегибы? — спрашивал Зимин. — Вспомните «Головокружение от успехов». Вы скоро убедитесь: Сталин поправит органы, наведет порядок.

Сейчас горько думать о заблуждениях Зимина. Впрочем, он ошибался подобно многим и многим. Им всем казалось, что они знают Сталина. Они его не знали.

Теперь-то можно понять, почему с Зиминим, прямым и мужественным человеком, для которого критика — норма поведения коммуниста, расправились в пору первых же репрессий.

От Фетисова мы узнали о докладе Зимина на районном активе в десятую годовщину со дня смерти Ленина. Зимин призывал вспомнить стиль жизни и работы Ильича, его скромность, его яростную нелюбовь к шумихе, хвастовству, парадности, подхалимству.

Искренне полагая, что самому Сталину должно

быть неприятно бесконечное воскурение фимиама со страниц газет, в речах и докладах, Зимин, по словам Фетисова, написал ему письмо, в котором советовал через печать осадить подхалимов.

Когда же сразу после выстрела в Кирова начались массовые аресты, когда знакомых Зимину людей бросили в тюрьму, он звонил и писал, протестовал, настаивал на создании комиссии из старых большевиков для проверки деятельности органов НКВД.

Рядом с Зиминим помещался некто Дорофеев — грузный мужчина с бледным одутловатым лицом. Он хворал. Жаловаться и рассчитывать на помощь не приходилось, только Анатолий Гамузов мог помочь советом. Почти все время Дорофеев лежал, и мы сначала его просто не замечали.

Он был юристом, прокурором в одном из районов Ленинграда. Фетисов едва не сблизился с земляком, но скоро они поссорились и отношения у них установились напряженные.

Ленинградский прокурор казался и нам злым, желчным человеком, слегка психованным. Дорофеев явно мешал нашим комиссарам сколотить коллектив из разношерстной компании. Стоило Зимину или Фетисову завести какой-нибудь серьезный разговор, бывший законовед немедленно подавал свой язвительный голос.

Перепалки между Зиминим и прокурором забавляли братию. Зимин говорил негромко, ровно и спокойно. Дорофеев переходил на крик.

— Не переносу ваших профессорских тирад! — кидался прокурор.

— А я не люблю истошных криков и восклицаний, — посмеивался Зимин.

— Вы уже не партийный деятель, не коммунист, вас выбили из игры! Будьте самим собой, не делайте вид, будто ничего не произошло! Неужели вы сами не почувствуете никчемность ваших наставлений?

— Произошло то, что мы с вами в тюрьме. Вы не понимаете: я остался самим собой, остался коммунистом. Был им, есть и буду, куда бы меня ни посадили. Жаль, что вы не вынесли испытания и готовы все хорошее затоптать в ожесточении.

И я, и Володя, разумеется, были на стороне Зимины, возмущались Дорофеевым, его наскаками. Нам не нравился его скептицизм, всегда критическое настроение, безотрадный взгляд на все. Нас, молодых, придавленных бедой, тянуло к иным людям, которые во что-то верили, стремились сами удержаться на поверхности и помогали удержаться нам. Умудренный опытом жизни, я теперь вижу: мы не понимали ленинградца, не понимали всей сложности его переживаний. Он предвидел свою гибель.

За прокурором располагался московский шофер Аркадий Агошин, член партии. Он сбил человека, осиротив троих малых ребят. Рассказывая о несчастном случае, Агошин сокрушался:

— Бедняга торопился домой после смены. Жена лежала в больнице, и дети оставались одни. Я не успел затормозить. Скорость была превышена. Да я и не оправдываюсь. На суде просил отдать мне ребят на иждивение, жалко их до невозможности. Зря не отдали. Семьи у меня еще нет. Что, я не поднял бы их? Еще как! Родные его на суде кричали: вредитель ты, вражина. А я совсем не вредитель и вообще невредный.

Агошин при его ровном и хорошем характере не унывал и другим не давал унывать. Ссор не одобрял, все старался примирить своих соседей — Дорофеева с Зиминым и Фетисовым. Симпатии его принадлежали Зимину, это чувствовалось по репликам Дорофееву:

— Комиссар тебе правильные вещи говорит — очень уж злой ты. Смотри, в гада превратишься. Кидаться, как овчарка.

В вагоне быстро заметили смешную привычку шофера — заранее объявлять свои действия. Скажем, собирается умыться: «Пойти сполоснуть циферблат». Или объявлял другую надобность: «Надо сбавить гидродинамическое давление».

Шофер по призванию, он любил рассказывать о машине, о том, как приятно прокатить за город девушку, об особом запахе гаража. Лучшей профессии для него не существовало. «У меня на радиаторе всегда лежит кусок хлеба с маслом».

В эту фразу он вкладывал вполне добрый смысл — мол, профессия дает приличную зарплату. Однако сосед Агошина товаровед Петреев понял его иначе, и оскорбленный шофер сразу полез драться.

Когда они утихомирились, Петреев — длинный, сутуловатый, с морщинистым старообразным лицом — продолжал развивать свою теорию:

— Никогда не поверю, будто шофер может удовлетвориться зарплатой. Возможности у него неограниченные, а контроля никакого. Сделал левый рейс и уже сыт, пьян и нос в табаке.

— Сейчас схлопочешь, — предупредил Агошин.

— Ладно, не буду о твоей профессии, раз ты нервный. Возьмем мою.

— Свою валяй, — согласился Агошин.

Петреев не страдал сдержанностью и мог болтать без конца. По его словам, честных людей на свете нет. Сам он был профессором в своей области и во многих комбинациях с утрусками, усушками, списаниями и переоценками «участвовал творчески». А попался глупо, хотя дело было обдуманно тонко: помог уценить и списать целый склад строительных материалов.

— Раз в жизни не имел корысти, сделал все по дружбе и — на тебе! — схватил десятку, — сокрушался Петреев.

— Слушайте, вы хоть постеснялись бы, мать вашу так! — возмутился Фетисов.

— Что ж стесняться? — засмеялся товаровед. — Я же не на следствии, больше не добавят. А говорю сущую правду.

— Значит, кругом одни воры? — не без любопытства спросил Зимин.

— Конечно. Да и не только здесь — во всей Москве, во всей стране. Вы святой человек, если не знаете: у нас все воруют, во всяком случае, воруют те, кто связан с товарами, с продуктами, словом, с материальными ценностями. А почему воруют?

— Почему?

— Прожиточный минимум высок, тогда как зарплата маленькая. Карточная система к тому же все спутала: денюжки превратились в пустые бумажки. Вы скажете, карточную систему отменили. Верно. Но положение стало не лучше: денюжки пока что оста-

ются бумажками, на них много не купишь. И что же? Прикажете сидеть и смотреть, как семья, собственные дети голодают? У вас оклад, по-видимому, был приличный, и этой проблемой вы не интересовались. Спросите у любого. Наш Аркадий, хотя и полез драться, сам сказал: у него на радиаторе всегда лежит кусок сливочного масла.

— Ну, ты, выхлопная труба, заткнешься?! — приподнялся Агошин.

— Молчу, о тебе молчу. Ты же у нас партийный. А другой сосед — Миша Птицын, нормировщик. Спросите у него: разве сидит он не за то, что выводил работягам в цеху подходящие нормочки?

— Что ты брешешь? — удивился Птицын, двадцатидвухлетний крепыш с румяным даже в тюрьме лицом и пышными волосами.

— Я знаю, все нормировщики имеют свой кусок масла за комбинации с нормами. Зарплата мала, а тут есть возможность помочь себе и людям.

— Подождите минутку, — остановил говоруна Зимин и обратился к Птицыну: — Вы не можете сами сказать, за что вас взяли?

— За хулиганство, — краснея, ответил Миша. — Выпил и подрался в общественном месте. Вернее, выдал как следует мастеру и его заместителю.

— Сразу двоим? За что же?

— Пригласили меня в пивную и стали уговаривать: «В цехе тобой недовольны, не сочувствуешь людям, давай договоримся — ты им, они тебе».

Зимин обрадовался.

— Видите, Петреев, вы со своей тсорией куска масла и всеобщего воровства попали пальцем в небо.

— Так я им и поверил, — усмехнулся товаровед. — Это они перед вами выпендриваются идейными, по совести-то у них другие песни.

— Дура! — пожал плечами Птицын.

— Петреев, слышите? Вот вам и резюме, — с удовольствием засмеялся Зимин.

Мурашов отрскомендовался в качестве художника. Он часто тулился к окошку, часами взирал на природу. Зимина это трогало.

Как-то Павел Матвеевич затеял с Мурашовым разговор об искусстве и выдвинул странноватую идею:

— Если б я был художником, я нарисовал бы пейзажи Подмосковья, Урала, Сибири Западной и Восточной, Дальнего Востока, Тихого океана. Выставил бы пейзажи в ряд, так сказать, по ходу поезда и назвал «Путешествие из Москвы во Владивосток». Получилась бы грандиозная панорама Родины. Как вам идея, Мурашов? Подходит?

— Мое дело не пейзажи, а декорации,— с пренебрежением отозвался Мурашов.— Еще точнее сказать, мое дело — бутафория для сцены Большого театра. Пустяками я не занимаюсь.

На лучших местах у окошка с решеткой размещались, как выяснилось, два жулика, по виду совсем мальчишки — Юра Голубев и похожий на артиста высокий красивый Мосолов Игорь, он же Ласточкин Стась.

К ним относились с подозрительностью, предполагая, что они отделились от своих корешей не зря, для темных своих делишек. Петреев частенько повторял: «Берегите пожитки». Упрекнуть Мосолова и Голубева, однако, было не в чем. Голубев подолгу отлучался к своим «шпилить» в картишки или петь песни. Мосолов же держался особняком. Зимин с интересом приглядывался к независимому в манерах и молчаливому урке, шутил: «Нам повезло, у нас прекрасные воры — не воруют в своем доме».

Одно происшествие вроде внесло поправку в это правило: у Агошина исчезла пайка, сию минуту держал в руках, и вот нету. Агошин шумел и ругался, Петреев подливал в огонь масла. Голубев моментально смылся, хотя Мосолов ему сказал:

— Лежи, не рыпайся.

— Тебе эта пайка выйдет боком! — кричал Агошин.

— Зачем боком? Она выйдет законным путем, — ответил Мосолов-Ласточкин.

Зимин отметил реплику смехом, Фетисов тоже хотнул басовито. Смех словно подстегнул шофера, он совсем разозлился и начал спихивать Мосолова с нар.

— Поднимай свой грязный кузов, жулик! Слышишь?

— Не видишь, я на отдыхе. Мне положено отдыхать четыре года.

С противоположных нар, побросав карты, с криком и свистом соскочили Кулаков, Мурзин и Редько.

— Хряй сюда, баранка!

— Стась, пощечки фраера перышком!

— Сейчас мы сделаем с тебя куколку, которая кричит «мама»!

Сторонники Агошина тоже исходили в крике. Скандал грозил перерасти в драку с возможным кровопусканием. Зимин и Фетисов старались утихомирить обе стороны. Только сам виновник конфликта по-прежнему лежал, будто все это его не касалось.

— Агошин, прекратите, как не стыдно! Мосолов тире Ласточкин, уймите свою компанию! — призывал Зимин.

— Тихо, мальчики! Комиссар просит без шуму! — внятно и негромко сказал Мосолов-Ласточкин.

Как ни странно, фраза, брошенная спокойно и не без насмешки, удержала скандал на уровне сквернословия, в котором и Агошин и Кулаков преуспели одинаково. Потом и они повыдохлись. Шум стих так же мгновенно, как и возник, Голубев вернулся на место.

— Пойду поковыряюсь в моторе, — объявил Агошин и спустился к печке.

— Как вас все-таки звать: Игорь или Стась, Мосолов или Ласточкин? — поинтересовался Зимин.

— Да на выбор. Если хотите, есть и еще названия: Валетов Вадим, Тимонин Артур, Костя Дым. Хватит или продолжать? Какие еще вопросы у комиссара?

— Главный вопрос: зачем воровать?

— Вы слышали, что говорил товаровед: воруют все и воруют везде. Тем более пайка — не склад товаров и не бриллианты. Как вы полагаете: хлеб воровать можно, если хочется жрать?

— Пожалуй, да. Голодный имеет право на хлеб. Но украли-то у товарища по несчастью, последнее. «Хочется жрать!» А он что же, не хочет? Сказали бы лучше, хочу жрать, я б отдал половину своего, у меня плохой аппетит.

— Не трепись, сивый! Отдал бы ты половину! Агитатор! — неожиданно огрызнулся Голубев.

— Юра, прошу тихо! — строго оборвал его Мосолов-Ласточкин и тихо посоветовал: — Положи назад!

— Стась, ты что? Не видал я этой пайки, сука буду!

Соседи не слышали шепота Мосолова, но восклицание Голубева до них дошло.

— Спектакль! — прогнусавил товаровед.

— Молчи, паразит! А то обследуем твои закрома.

Петреев обнял руками пожитки, защищая их от Мосолова. Однако тот, не обращая на товароведа внимания, покопался в своих вещах и вынул пачку печенья. Полюбовался розовым мальчиком на этикетке, подкинул пачку кверху, поймал и позвал Агошина:

— Слушай, циферблат, иди сюда! Бери.

— Что это? — удивился тот.

— Твоя пайка. Ты прав, вышла боком. В виде печенья.

— Да ну тебя!

— Бери, у меня есть еще одна.

Зимин и Фетисов переглянулись.

— Интересный урка! — сказал Фетисов.

— По-моему, он уже не урка, — возразил Зимин и засмеялся. — Что получается? Пайку-то умыл сам товаровед? Ай, какое падение: от большого склада к жалкому куску хлеба! Ай-яй-яй!

БАНЯ НА НЕИЗВЕСТНОЙ СТАНЦИИ

Мы путешествуем давно, целую вечность, не хочется считать дни. Привыкли к неугомонному движению в неизвестное. Узнаем названия очередных станций — Ачинск, Комарчача, Канск — и удивляемся. У Зимина с Канском связаны ассоциации времен царской каторги. Мы, значит, старую каторгу оставляем далеко позади. Кто-то углядел столб с цифрой: 4122. Не может быть! Долго лепимся у окошка и убеждаемся: да, четыре тысячи километров с хвостом. А почему нет? Комарчача — название не русское. Случайно выясненные названия станций и столбы с указанием километров — повод для горьких шуток на тему: велика ты, Русь-матушка, а к чему? Неужели только для каторги?

Привыкли мы и к длительным стоянкам на товарных станциях, на полустанках, на разъездах. Стоим

часто по разным железнодорожным и своим арестантским надобностям. Невозможно обойтись без поверки, нужна вода горячая и холодная, надо забрать паек, поживиться угольком и дровишками. На больших станциях состав загоняют в дальние тупики, дабы не давать соблазн к общению с вольными гражданами. Не след тревожить население невеселым зрелищем тюрьмы на колесах.

На этот раз наша стоянка приходится на неизвестную станцию. Дотемна стоим в тупике и узнаем: будет санобработка, то есть баня, приготовить белье и полотенце (если есть), ждать очереди.

Очередь приходит глубокой ночью. Взволнованные, со сверточками в руках выскакиваем по одному на мороз. Луна и чистейший снег, как днем, светло. Воздух обжигает. Под команду разбираемся: четыре в ряд. Двенадцать молоденьких бойцов стоят прямоугольником, штыки вперед. Двенадцать, это значит по одному на троих, многовато! И так серьезны эти юные бойцы, что кажутся неправдоподобными и они сами, и винтовки в их руках. Сейчас они опустят винтовки к ногам и рассмеются. Но смеха не слышно. Старший кричит: из строя не выходить, идти ровно, песни не петь, громко не разговаривать. При попытке к бегству конвой открывает стрельбу без предупреждения. Команда «марш» — и мы двигаемся, скрипит и поет снег под ногами.

Я помню дикий, нестерпимо гулкий стук сердца. Помню обжигающий и сочный, пахнущий арбузами морозный воздух. Он выжал слезы, их нечем вытереть, и они каменеют на щеках. Я все помню: хрустящий сухой снег под ногами, жирные звезды на светлом небе, заснеженные новогодние елки, голые, трогательно тонкие стволки березок. Помню зарывшиеся в сугроб домики с добро светящимися оконцами.

Застыли ноги и все тело, я подумал с усмешкой: будешь знать, как ездить в Сибирь налегке, по-московски — в тонких ботиночках, в куртке до колен, в кубаночке (скажи спасибо Володе за теплое белье и шерстяные толстые носки).

— Митя, чувствуешь, воздух-то какой? — шепчет рядом Зимин. У него заиндевели очки, я держу его под руку. — Дыши глубже.

После смрадного вагона так свеж, так вкусен воз-

дух. Я глотаю, пью его и не могу напиться. Он пьянит, хочется пробежаться, покидаться снежками, поваляться в сугробе.

И Коля Бакин, самый непосредственный из нас, поддается бесшабашному порыву. Он вскрикивает, подскакивает, озорно толкает идущего рядом Володю, нагибается набрать добрую пригоршню чистейшего снега.

Мы не успели посмеяться этому приливу телячьей радости. Оказывается, она до смерти напугала ближнего бойца охраны — здорового молодого парня. Вояка направил на Кольку винтовку и заорал заикаясь:

— Стой, сволочь! Буду стрелять! Стой!

Колька обалдел от неожиданного крика, испугался. Метнулся в сторону, Володя схватил его за рукав и притянул к себе, Колька спрятался за его спину. Эта суматоха еще пуще взволновала бойца. Он защелкал затвором и принялся палить в воздух, истощенно вопя:

— Выдь из строя! Выдь и лягай! Выдь, тебе говорят!

Горемычный наш отряд остановился. Видимо, команда была, мы ее не расслышали. Володя, выводя Колю из оцепенения, слегка подтолкнул его.

— Выйди, не бойся, а то он совсем оборется.

Глядя на винтовку, наставленную ему прямо в лицо, Коля вышел из строя.

— Лягай! Лягай и не вертухайся!

Коля втянул голову в плечи, всхлипнул по-детски, упал на снег лицом вниз.

— Ну что ты поднял крик, на кого? — дрожащим от волнения голосом обратился Фетисов к бойцу.

— Мы ж для него не люди, — сказал Мосолов-Ласточкин.

— Прекратить болтовню! — крикнул другой боец из охраны.

Все это было неправдоподобно, дико и нелепо: вооруженный конвой, безумные крики испуганного бойца, выстрелы, парнишка на снегу («Лягай и не вертухайся»).

— Землячок, що ти нас боишься, милый? — мелодичным своим голосом тихо, будто про себя, печально сказал Петро. — Мы ж такие же советские люди. А ты нас, как зверей лютых...

— Поговори еще. Вы и есть зверье, сволочи, враги народа! — убежденно сказал боец и повысил голос: — Молчать!

Подбежал наконец старший конвоя. Одним взглядом окинул лежащего на снегу Колю, взъерошенного бойца, всех нас.

— Экие страсти разыгрались из-за пустяка, — глухо сказал из рядов Мякишев.

— Предупреждаю, одно слово, и вы будете лишены бани, вернетесь в вагон! — пригрозил старший. Отведя от Коли винтовку, сказал ему: — Иди в строй.

Под взглядами охраны и заключенных Бакин медленно поднялся и, ни на кого не глядя, стал на место. Команда «марш», и снова весело захрустел снежок под ногами.

— Убегу! Теперь обязательно убегу! — твердил Коля.

Он никак не мог прийти в себя и шатался от волнения. Да и все мы не могли прийти в себя.

Хотелось что-то сделать, объясниться с ребятами из конвоя. Но ведь Петро пытался поговорить. Как доказать, что я ничего плохого не сделал? Что все кругом — и этот славный снежок, и нагие светлые березки, и пьянящий морозный воздух, и высоченные горделивые сосны, — это все моя родная земля, моя родина? Как случилось, что вы должны от меня оберегать мою землю и эти зарывшиеся в сугробы домики с веселыми окошками на окраине сибирского городка?

В тягостном молчании мы шли и шли, только снег пел под ногами и кто-то в шеренгах трудно дышал и кашлял.

Остановились у широкого одноэтажного каменного дома, похожего на лабаз: баня. Конвой перестраивался, командовал себе и нам, передвигался, мы стояли. По команде начали заходить по одному. Быстро разделись и долго ждали: предыдущий вагон еще мылся. Правда, ожидание бани было непростое, полное хлопот: сдавали верхнюю одежду и обувь в сушилку — вошебойку, стояли в очереди к санитарам — они рылись в белье, искали насекомых. Потом мы выстроились в две очереди к парикмахерам, которые быстро выстригали под мышками и в прочих волосистых местах.

Обитатели нашего вагона познакомились как бы вновь. Зимина можно было узнать лишь по очкам, очень худым и поджарым оказался наш «комиссар». Появление голого Петрова вызвало веселье: старый жулик весь был разрисован — красotka на животе, сердце, пронзенное стрелой, на груди, на руках разные непотребности. Петро просто отпугивал: дистрофия превратила его в скелет. Возле Гамузова грохотала целая компания:

— Толя, ты ли это? Тебя и не видно. Здорово ты снарядился, сибирские морозы теперь не страшны.

— Слушай, уступи килограммчик на валенки!

Доктор весь диковинно зарос шерстью, даже на спине она густо чернела. Санитары попробовали стричь и отступились — машинка не взяла этакую заросль.

Ввалились в моечную и отпрянули — в тумане шевелились голые женщины. Не туда попали, что ли?

— Смелее, голубки! — хрипло подбодрила одна из них.

— В Сибири обычное дело женщины-банщицы, чистоту наводят, — объяснял кто-то. — Они тоже заключенные, вроде нас, грешных.

— Хорошо хоть в клеенчатых передниках, — одобрил Мякишев. — Дали бы и нам такие.

— Руками закрывайся, — посоветовал Петро.

— А чем мыться? — вопрошал старик. — Тьфу, черт, до чего дожил.

Нелепо и странно казалось все это. Странно было видеть женщин среди голых растерявшихся мужчин. Еще более странно и нелепо выглядели среди нагих людей бойцы в полной форме и с винтовками. Лишь полушубки они оставили в раздевалке.

— Бойтся охрана, как бы кто-нибудь не растворился в воде. Будет считаться за побег, — смеялся Агошин.

Банщицы раздавали шайки, мочалки и маленькие квадратики мыла. Одна пожилая темная, как икона, тетка звонко шлепнула Зимина по заднему месту и захихикала:

— Не стыдно в очках-то? Раздевался бы до конца.

Зимин смутился, а Фетисов немедленно отозвался:

— Бабушка, он без очков не увидит твоих прелестей.

Баншица помоложе разглядела в пару литой трехугольный торс Володи, его мышцы и закричала на всю мочную:

— Красавчик! Боже мой, какой красавчик! Иди сюда, потру спинку.

— Может быть, мне потрешь? — запел Петро.

— Ты не годишься: очень тощей!

Плохие шутки. Жалкое веселье. Настроение такое, что не шутить — удрать бы куда-нибудь. Куда удерешь, если в дверях торчит боец с винтовкой? А Володе смешно. Он замечает мой кислый взгляд, хохочет и, просмеявшись, говорит:

— Митя, учти, юмор — важная вещь, помогает в трудную минуту. И еще учти, Митя: вода — тоже важная вещь. Если будешь киснуть, останешься грязным и я тебя не пушу в вагон. Занимай-ка эту лавку. И зови нашу команду.

Своей компанией мы располагаемся на скользкой и холодноватой каменной скамейке, налаживаем конвейером снабжение водой и начинаем мыться.

Один Коля Бакин сидит на скамейке, опустив руки. Фетисов нарочно просит его потереть спину. Коля гоняет мыло по смуглому телу и молчит.

— Ты не похож на себя, — говорит Зимин. — Слышь, Коля? Так нельзя. Терпи уж. Теперь недолго.

— Все равно, — твердит свое Коля.

— Себя не накажешь. Этому мордастому парнишке сказали, и он верит, что мы враги, что нас надо стеречь. Выполняет свой долг.

— Убегу! Никто не удержит.

Нельзя больше это слушать. Я беру свою шайку и ухожу на другой конец каменной лавки. Володя ловко намыливает длинную спину Зимина, и тот, сотрясаемый Володиными сильными руками, говорит прерывисто, словно задыхаясь:

— Никогда не забуду Колю Бакина в снегу и этого свирепого парнишку с винтовкой. «Враги»!

Я зажимаю уши. С отцом мы всегда ходили в баню на Самотеке. Он растирал меня, мальчишку, мыльной мочалкой, а я предавался своей игре: зажимал на мгновение уши ладонями и отпускал. Из банного шума, плеска, хаоса голосов возникал певучий возглас, похожий на плач ребенка: у-а-а. Сейчас я вспомнил ту детскую игру.

— Володя, вы содрали мне кожу! — спохватывается Зимин.

— Кончай! — разносится команда. — Освобождай помещение!

Быстро окатываемся последний раз. Все-таки вода важная вещь, Володя прав. Выскакиваем один за другим в холодную после парной раздевалку. Находим каждый свое барахлишко, утираемся одним на двоих чистым полотенцем (а кто и чем попало), надеваем чистое белье (у меня просторная Володина пара). Одежда и башмаки после сушилки горячие — приятно!

— Быстрее! Быстрее! — торопит охрана. — Потопрапливайтесь!

При выходе Володя шепчет:

— Следи за Колькой. Не наделал бы глупостей.

На улице нас, разгоряченных, свирепо атакует мороз. Выстраиваемся по четверо. Коля Бакин между мной и Володей.

— Марш! Марш! — командует старший конвоя и неожиданно заявляет: — Вас ждет чай, торопитесь!

Идем ходко, почти бежим. Встречаемся с такой же толпой людей под конвоем — еще один вагон спешит на санобработку. Разминулись молча, одарив друг друга сочувственными взглядами.

Коля понял наши опасения. Понял и сказал:

— Убегу, но не сейчас. Много Ванек с винтовками — не выйдет.

И вот мы в своем вагоне. Старший раздобрился, выдал две свечи, и у нас сегодня светло. Черпаем кипяток из дымящихся ведер. Обещанный чай состоялся.

— С легким паром, — поздравляет меня Володя. — Смотри, что у нас к чаю!

Он разжимает кулак: на его широкой ладони синеватый кусочек сахара и две мятые «подушечки». Шикарно!

**ПОЗНАКОМЬТЕСЬ:
«ЖЛОБЫ», ВРЕДИТЕЛЬ,
ОФИЦИАНТ И КОРОЛЬ ЛИП**

Воробьев Савва, 44 года, крестьянин, статья 58^{10,11}, срок 10 лет; Севастьянов Данила, 48 лет, крестьянин, статья 58^{10,11}, срок 8 лет; Сашко Павел, 37 лет, кре-

стьянин, статья НЗП, срок 3 года; Федосов Василий, 32 года, крестьянин, статья 58¹⁰, срок 5 лет; Ланин Игорь, 43 года, инженер, статья 58⁷, срок 10 лет; Бочаров Степан, 25 лет, крестьянин, шахтер, статья 58¹⁰, срок 3 года; Пиккиев Семен, 62 года, официант, сторож, статья 35, срок 3 года; Кровяков Яков, 69 лет, матрос, пенсионер, статья НЗП, срок 2 года; Агапкин Антон, 40 лет, крестьянин, шахтер, статья 58¹⁰, срок 3 года.

У «жлобов», так их здесь называли, на нижних нарах — самое угрюмое место в вагоне. Озорник Бакин Коля иногда окликал их:

— Эй, вы там, живы еще? Отзовитесь!

Кличка «жлобы» сразу к ним прилипла, она выражала общую — от политических до урок — неприязнь. За что их не любили? За то, что они кулаки, хотя и бывшие. За то, что у них не выпросишь кусочек хлеба или щепоть махорки. Мы, городская молодежь, представляли кулаков всех на один плакатный образец: бородачи со зверскими рожами.

В наш вагон попали сплошь безбородые, не похожие на образец. Самый колоритный из «жлобов» Савва Воробьев — большой, плечистый серьезный мужик с пронзительным взглядом — был даже красив. Силой обладал неимоверной. На моих глазах он голый рукой забил торчавший из вагонной обшивки здоровенный гвоздь. Говорил увесисто, без улыбки. Тень улыбки появлялась в единственном случае: когда он, вспоминая лошадей, восхищался их умом, статью, выносливостью.

— На свете нет ничего дороже лошади, — убежденно сказал он, заметив, что его слушают со вниманием.

— А человек?

— Лошадь лучше и чище. Вот скажи, студент, — обратился он ко мне, — правда, что есть такая книжка, как лошади объединились, жили сами по себе и вели хозяйство в сто раз умнее людей?

Воробьев отчаянно сопротивлялся раскулачиванию, чем мог — вилами, топором, зубами — отстаивал свое добро. За это пришлось ему познакомиться с лагерем и ссылкой, вся его семья сгинула. О своей борьбе, не таясь, рассказал сам.

— Меня ликвидируют как класс, а я что, кланяй-

ся и благодари? Меня по роже — и я по роже. Вы меня под дых — и я вас под дых.

— Коза с волком тягалась, одни рога остались,— прокряхтел Севастьянов.

У него самого обошлось без кровопролитий. «Принял кару смиренно»,— так он выразился. С тихим голосом, с ласковым взглядом, с частым поминанием бога, этот человек производил вполне безобидное впечатление. Беда у него началась с пожара Нардома (двухэтажный лучший дом в деревне раньше принадлежал Севастьянову). За час от дома остались одни головешки. Данила Севастьянов вместе с односельчанами тушил огонь. Когда тушить было уже нечего, бывшего хозяина вдруг заметили:

— Это он сам спалил! Чтоб ни себе, ни людям!

Севастьянов перепугался, убежал в лес. Устроили облаву, поймали, избили, едва не кончили самосудом. Дали десятку, послали строить Беломорканал. Построил — тачку катал, лес валил, плотничал, мастер на все руки. Освободили досрочно, в лагерной газете портрет напечатали: перековался. Сгоряча приехал в свою деревню, даже не успел приглядеться, загребли опять.

— Ну, а Нардом-то кто спалил? Ты или не ты?— прямо спросил Фетисов.

— Господь с тобой, гражданин хороший,— ответил Севастьянов, однако его ответ вызвал хохоток.

— Может, все не так было, сказку рассказал?

— Все может быть,— охотно согласился Севастьянов.— Без сказки время медленно тянется. Дак все мы тут сказочки рассказываем, время тянем. Прости, нас, господи.

— Кое-что ты все-таки честно сказал. И то ладно.

— Что же именно?— насторожился Севастьянов.

— То, что долго погулять не дали.

Из всех них один Павел Сашко выглядел неприятно, сутулый, почти горбатый, с руками до колен, с узким лицом, которое от уха до уха перечеркивал мокрый кривящийся рот.

— Я вовремя дал деру,— хихикнул Сашко.— Устроился в городе у родственников, в артель взяли меня по сапожному делу, я мастак по этой части, что хромовые, что яловые могу. Заработок шел прилич-

ный, жену выписал и дочку. Жил незаметненько, ду- мал, пронесло ненастье.

— Не пронесло?— усмехнулся Воробьев.

— Не пронесло. В декабре пришли, спросили до- кументы и забрали со всем семейством. Нарушили паспортизацию, езжайте перековываться.

Четвертый, Федосов Василий, чуть выше среднего роста, черноглазый и кудреватый мужик, в разгово- ры втягивался туго. Коле Бакину он сказал с укором:

— Какой тебе интерес, парень, в чужой беде ко- паться? Копайся в своей.

— У тебя особенная беда, что ты ее бережешь?

— Моя беда, как и у других. Нажитое горбом не хотел отдавать. Папаша мой правильно наказывал: нищим лучше не жить. Он-то умер, а я живу, нищий и гонимый.

Непоседливый Коля Бакин от скуки приставал к обитателям вагона, из озорства поддразнивал. Но я понимал, не только озорство толкало его. Как и я, Коля хотел всерьез понять людей, встретившихся на пути.

— Пойдем, Митя, покалякаем с куркулями,— предлагал он.

Мы подсаживались на их нары. Коля начинал:

— Поди тоскуете по родной земле?

В ответ раздавалось ворчание. Коля смеялся. Иногда завязывалась беседа вокруг сокровенного: хозяйства. Даже Коля становился серьезным.

По словам Воробьева, у него было «изрядное де- ло», которое он вел вместе с братьями. И пашня под хлеб, и огороды, и лошадки на извоз. Даже двух бла- городных коней — Резвого и Ласковую — посылал на скачки («Это уж, конечно, не для заработка»). Се- вастьянов держал ферму, поставлял в город молоко, сметану и масло, «мечтал завести сыроварню, не ус- пел».

Заслышав эти разговоры, с нар соскакивал Фети- сов, в нем быстро закипал двадцатипятилетний.

— Расскажи лучше, сколько народу эксплуатиро- вал от зари до зари!

— А что? Люди на заработки не жаловались, по- больше получали, чем в твоём колхозе.

— «Не жаловались»! Им копейку, в свой карман — рубли!

— Как же ты думал? Святые, они в церкви да на небе. У меня только свои и трудились, родные. Неужели обижу?

— Известная песня: племянники и внучки, десятая вода на киселе! — смеялся Фетисов. — И драл с каждого семь шкур!

— Гражданин, я хочу у тебя спросить, — обратился как-то к Фетисову Бочаров — поросший щетиной, неряшливый и нелюдимый человек непонятного возраста.

— Спроси, пожалуйста, — разрешил Фетисов.

— Ты про богатеев ладно толкуешь. А вот приходилось раскулачивать таких, которые имели всего-навсего одну лошадку и двух коровенок?

— Перегибы случались. Партия их осудила.

— Осудила, знаю. Однако людей разорили, с места согнали, от земли навсегда оторвали. Богатеев-то много ли, а таких, с двумя коровенками, середняков миллион! На них держалась деревня.

— Ты бы, друг ситный, про себя толковал, не таясь, по правде.

— Я про себя и толкую. Лошадь была с жеребенком, две коровы и телок. Овец дюжина. Куры, утки, гуси. Справное хозяйство, но лишка не водилось. Дом, конечно. Не хоромы, однако жить можно, пятистенка. Кулак я, по-твоему, или не кулак?

— У нас, к примеру, кузня была, — вступил в разговор кудрявый Федосов. — Работали папаша и я, еще мальчонка помогал, сынишка мой. Кулаки мы или нет?

— Если не врете про хозяйство, не кулаки, — ответил Фетисов.

— Почему же меня раскулачили и выслали?

— Меня так же.

— Так вы, граждане хорошие, до конца все договаривайте.

— То есть как?

— Коллективизацию мешали проводить? Бузу поднимали, скандалили, за ружье хватались, стреляли? Или подпевали какому-нибудь богатею. Стояли за него горой? Ну?

— Какие уж богатеи в наших тощих местах? Я самый богатый оказался!

«Жлобы» засмеялись, дружно зашумели:

— Разве разбираются они, городские. Дали им директиву, они и гнут.

— В деревне ни черта не петрят: ни когда сеять, ни когда жать. Две коровы — это у них буржуй. Пустили крестьянство по миру.

— Погодите галдеть, я с Бочаровым да с Федосовым толкую,— поднял руку бывший двадцатипяти-тысячник.— Вы не ответили мне, дружочки.

— А что не ответили?

— Колхозы мешали создавать? Сопротивлялись?

— Будешь сопротивляться, когда добро твое отнимают.

— А колхозы твои никто в ту пору не знал, не видел. Ташут в яму — полезай. А не видно, глубоко ли.

«Жлобы» опять засмеялись, только Бочаров стоял мрачный, уперев глаза в пол. Искривился, как от зубной боли, и полез на свои нары.

— Привыкли душу мотать, черт бы вас подрал!

Разговоры о колхозах велись часто.

— Что ты можешь понимать, комиссар!— рычал Воробьев.— Мы были получше тебя. Мы людьми были, стали волками. Тебя из собственного дома, как собаку бешеную, выгоняли? Тебя в голую степь привозили и бросали? У тебя жена и дети, и старуха мать дохли как мухи на глаза? Тебе в свою родную деревню приходилось тайком приползать, будто вору-бандюге?

— Да, не приходилось. Но ведь я рабочий, потомственный пролетарий.

— Заткнись, пролетарий!— встав во весь рост, в яростном захлесте кричал Воробьев.— Скажу тебе прямо, не таясь: я всегда буду мстить, мне моя жизнь только для этого и нужна. Для чего она мне еще— семья погибла, от земли меня оторвали! И дураки— дали мало. Выйду из лагеря досрочно и буду еще злее. А здоровья у меня хватит на сто лет, я трехжильный, не то что вы, сопляки, тыща штук сушеных на один фунт. Сопляки!

В тихий покойный вечер Зимин завел разговор о нашем недалеком будущем. Он мечтал вслух. Мы вернемся, мы скоро вернемся в нормальную жизнь. В этой жизни все будет славно: работа, какую любишь, театры, лекции и просто выходные в кругу семьи.

Коля Бакин и Агошин, Петро Ващенко и Птицын, Володя и Фролов, мирно устроившись на нарах возле Зимины, как-то необычно притихли. В этой тишине раздумия пронесся по вагону свистящий голос Севастьянова:

— А нам? Нам-то небось не даешь места в этой хорошей жизни? Ликвидировали, как класс, а жить оставили. Ведь и мы, когда из лагеря выйдем, все равно будем искать себе место.

— Освободитесь от злобы, будет вам место. Останетесь врагами, не будет.

— Ох, формула!— проворчал Дорофеев.— Даже доброго пса можно обозлить до бешенства,— тихо и устало сказал он.— А как с Бочаровым и Федосовым? Какие из них кулаки?

Севастьянов пропел тонким голосом:

— Я на канале перековался вроде, но места мне опять нету.

— Хорошо, что вы тоже едете с нами, комиссары чертовы!— заорал Воробьев.— Побольше бы такими идейными набивали тюремные вагоны. Скорее бы все кончилось.

— Что кончилось бы скорее?— спросил Зимин.

— Все! Революция твоя!

— Ну, этого не дожидаться, хотя здоровья, по вашим словам, вам хватит на сто лет.

— Все уже прахом пошло, не видишь, слепец! Ты же сам, верный своей партии, на каторгу едешь!

— Вам не стоит себя этим успокаивать. Миллионы коммунистов на воле, они разберутся.

— Да никто больше в нее не верит, в революцию!

— Вы не верите, миллионы верят. Вы слепец, Воробьев, не я.

— Дурачки вы, комиссары, старые и молодые. Не хотите себе признаться: не получилось, как хотел Ленин, как он задумал. Разве в лагерях можно сделать людей лучше, чем они есть? Сам-то не видел, какие они, лагеря, а говоришь: освободись от злобы. Твои же товарищи всех запрут в тюрьмы, в лагеря, всех перекуют. Посмотрю, как ты сам перекуешься. Моего века хватит над тобой посмеяться.

— Я должен дать ему по морде за его подлые слова!— я рванулся к Воробьеву.

— Митя не смей!— Фетисов перехватил меня и крепко держал. К нему подскочил и Володя.

— Вы слышали, Воробьев, ответ Мити?— спросил Зимин.

— Дурачок,— пробормотал Воробьев. Он даже не пошевелился.

Сашко разинул лягушачий рот.

— Ах ты, воробышек! Мы же тебя на куски растащим. У нас руки-то железные, взгляни.

— Пустите!— рванулся я. Фетисов и Володя не пускали. Возле нар столпились Коля Бакин, Агошин, Мякишев, Ващенко, Птицын.

— Здесь каждый говорит, что хочет, не на воле, чай, рот не зажмешь,— рассудительно толковал Севастьянов.— За каждое слово бить — морд не напаешься.

— Нас помилуйте! Дайте уйти!— испугался старик Кровяков. И он и другие соседи торопились прочь от схватки.

— Мальчики, шухер! Парад ретур спонтом! Фраеры собрались драться. Черти политики, не робей!— это урки шумели, обрадовавшись скандалу. Они уже приготовились к зрелищу, чинно рассевшись на своих нарах.

— Оставьте, Володя,— внушительно сказал Зимин.

Рукопашной не дали развернуться. Фетисов и Зимин укоряли нас, словно школьников. К чести Воробьева, он и сам в драку не полез и быстро усмирил своих. Все разбрелось по своим местам. Урки остались разочарованы мирным исходом конфликта, некоторое время они еще продолжали обсуждать событие.

Мы с Володей настроились на сон. Но я все не мог успокоиться. Прислушавшись, убедился: дискуссия не кончилась, она просто раздробилась.

— Мужичкий вожак не так уж глупо сказал: всех идейных сунуть в тюрьму — и революции конец,— глухо гудел Дорофеев.

— Мысль-то очень уж не новая.

— И справедливо он сказал: в лагерях не сделаешь людей лучше.

Из другого конца вагона докатывался густой рык Воробьева:

— И комиссары обречены, однако не понимают,

хорохорятся. Я прошел медные трубы, все видел и все узнал, и говорю: крестьянству сломали хребет, теперь его ничем не склешь. Без крестьянства нет России. И мы все обреченные...

Я лежал и думал. Хорошо, обошлось без драки. «Мальчишеский способ решать кулаками все проблемы», — упрекнул меня Зимин. Соседи мои похрапывали, вагон затих, а я не мог заснуть, голоса продолжали гудеть. Воробьев: «Были получше вас...» Севастьянов: «Ежели нет нам места в жизни — убивали бы, что ли?» Бочаров: «Лошадь и две коровенки. Кулак я или не кулак?» Епишин: «Речу я сказал... Протокол записали на меня».

Людей, расположившихся на одних нарах со «жлобами», мы с Колей определить затруднились. «Ни богу свечка, ни черту кочерга». Правда, у Ланина была 58 статья, но ничего больше о нем мы не знали.

На чьи-то расспросы он отделался шуткой:

— Считайте, меня здесь нет. На проверке я присутствую, чтобы конвой не волновался, затем исчезаю.

В самом деле, он лежал, закутавшись в свою боброво-хорьковую шубу, и никак себя не выказывал. Вылезал редко, когда на площадке возле параша и у печки никто не торчал, то есть когда все спали. Однажды он принялся оживлять чахнувший огонь в печке и совсем приглушил его. С двух сторон заворчали — Агошин и Мякишев, признанные наравне с Володей авторитеты по части обращения с огнем.

— Что вы хотите от инженера-теплотехника, если он вредитель? — возразил Ланин и быстро убрался на нары.

По этой реплике вагон узнал: в его прекрасной коллекции жил-был и вредитель. Нелюдимый, невидимый и неслышный инженер особенного интереса не вызывал. Им всерьез заинтересовался только Петров, до и то из-за хорьковых хвостиков, и еще Зимин по свойству любознательного характера. Он без успеха пытался подъехать к Ланину.

— Не верю, что я вам чем-то интересен, — нелюбезно отрубил тот. — А если и так, то для знакомства, согласитесь, нужна взаимность.

— Разумеется, — улыбнулся Зимин.

— У меня к вам нет интереса. И ни к кому. Извините.

Зимину пришлось развести руками и отчалить.

Про Пиккиева и Кровякова беспощадный Коля сказал:

— Божие одуванчики. Не доедут.

Тот и другой были в преклонном возрасте, дряхлые и слабые. Кому они помешали, в чем провинились?

Пиккиев отрекомендовался официантом. На расспросы Коли охотно рассказывал: служил в ресторане, в трактире, в гостиницах.

— Противное занятие,— решил Коля.

— Отчего?— удивился Пиккиев.— Очень даже наоборот.

— Эх ты, «чего изволите!» Суют тебе в ладонь монеты, а ты изгибаешься и благодаришь. Тьфу!

Бывший официант держался, видимо, иного мнения, однако постоянное желание подлаживаться заставило его поддакнуть. Привычка услужать и сгибаться очень подходила его невзрачному бесцветному обличью.

Последние годы Пиккиев служил на даче у какого-то большого начальника, выполнял обязанности сторожа, истопника и садовника. Участок громадный, сад и цветники разрослись, сил не прибавлялось, старик не справлялся. Хозяин все чаще сердился и в конце концов уволил его. «Уходи, уезжай, не мельтеши больше»,— распорядился он. А куда деваться? Пиккиев продолжал мельтешить, жил себе в сторожке при даче.

— Слезы мои надоели,— рассказывал Пиккиев.— Хозяин подвел под меня статью.

— Пришил дело?

— Да, пришил. Сказал: бездельник, жулик, украл вещи.

Похоже, только еще похлеще случилось с Кровяковым. Крупный и рыхлый, он шагал неуверенно, будто на глиняных ногах, хватаясь руками за нары. Красноватые, как у плотвы, глаза и сумчатые веки, склеротические сизые щеки и нос, бесформенный, часто мокрый рот, морщины на лбу, на лице, на шее.

Вдобавок запах от неопрятности. Не верилось, что

Кровяков в прошлом матрос, ходил когда-то на «Орле». Старый доходяга.

Несколько лет назад Кровяков вышел на пенсию, жил с детьми — то у дочери в Новороссийске, то у сыновей в Москве. Появились внуки, нашлось симпатичное занятие — гулять с малышами. Потом внуки научились обходиться без старика, бывший моряк стал совсем бесполезен. Дома теснотища, не найдешь свободного угла. Раньше его наперебой звали погостить, теперь старались поскорее спровадить в гости. Невестки уговаривают: «Съездил бы в Новороссийск, проветрился бы у моря». — «Я ж недавно оттуда». — «Ничего, родная дочь не выгонит».

Дочь встретила ворчанием. Неделя проходит, она попрекает: «Совести у тебя нет. Не видишь, сколько у меня ртов, сколько постелей на ночь постилаю?»

Вернулся к сыновьям, скандал. Тесновато в двух комнатах, верно, одна вовсе крохотная и темная. Но жить-то надо, в тесноте, да не в обиде. Тем более жилплощадь старика. Невестки после очередной поездки в Новороссийск сообщают: «Между прочим, ты теперь без прописки, домоуправление тебя вычеркнуло». — «Как без прописки, как вычеркнуло?» — «Так. Приходили из милиции с проверкой, тебя нет. Выговор нам сделали: обманываете, никакого старика у вас нет, третий раз приходим. И вычеркнули из домовой книги.

— Думаю, какая разница, с пропиской жить или без прописки? Много ли осталось скрипеть? Наплевать на домовую книгу? Не выгонят же собственные дети из-за какой-то домовой книги? — Кровяков трясет головой, будто удивляется. — Выгнали! Когда был в Новороссийске, приходили из милиции проверять. Невестки сказали: уехал к дочери насовсем, больно́й и вообще скоро умрет. Дали кому-то взятку и жилплощадь переписали на себя: старшему сыну комнатку побольше, младшему — поменьше.

Вскоре приходит опять проверка, предъявляют мне ордер. «Нарушили закон о паспортизации, живете без прописки. Собирайтесь». А у невесток все уже приготовлено, только похныкать осталось. Причитают, внуков ко мне подталкивают: «Поцелуйте дедушку, он уезжает». С сыновьями даже не попрощался — на работе были оба.

— Хотите, напишем сыновьям письмо?— предложил я.

Старик обрадовался. Я нашел бумагу. Писал под диктовку старика, а сердце ныло. «Дорогие мои, дорогие, не думайте обо мне плохо, я не виноват». Кровяков плакал, слезы обильно заливали его широкое лицо. Я склонял его на гнев, а старый матрос все слал поклоны, поклоны, просил поцеловать внуков, мечтал «хоть погладить по головке».

История Кровякова словно ударила нас. Неужели такое возможно? Но врать старый не умеет!

— Король Лир,— вздохнув, сказал Володя.— У него к тому же нет Корделии, нет Кента.

— А мы? Давайте будем ему за Кента и за Глостера.

Мы старались пособить старику чем можно. Подкармливали его. Каждый, наверное, думал о своих— поможет ли моим кто-нибудь?

Прозвище Король Лир приклеилось к матросу, хотя я возражал: не надо прозвища. Володя удивлялся— почему не надо, прозвище обидно для его детей, не для него. Я не мог объяснить, что меня мучило. По-моему, прозвище обидно не только для его детей. Если дети унижают отца и платят ему злом за добро, если они выгоняют отца из дому, плохо не в одном только доме.

Сосед Кровякова, ярко-рыжий, постриженный солдатски Агапкин Антон отличался неразговорчивостью. Обращение «Иди ты...» с прибавлением слов, которые не пишутся, было у него излюбленным. Почему-то Агапкин именно меня избрал для неожиданного прилива откровенности. Мы оказались вдвоем возле печки, и он заговорил не глядя на меня:

— Москвич?

— Да.

— Заводской?

— Да.

— На заем пятилетки подписался?

— Все подписались, и я, конечно. А что?

— «Все»! Я как раз не подписался.

— На заводе работал?

— Спроси лучше, где не работал. В шахтах, на

руднике, в совхозе, на железной дороге. В Луганске, в Курске, в Орле, в Ельце. Долго не мог усидеть на месте, словно бес меня тащил куда-то.

— Почему?

— Разве я знаю? Характер тяжелый, с администрацией лаюсь. Не люблю, понимаешь, несправедливости. Мне бы работать на земле. Самостоятельно чтоб, ни от кого не зависеть.

— Вам в колхоз надо бы.

— Как же туда вернешься, если мы с батей ушли оттуда в трудный момент от голодухи? Выходит, с деревней расплевался, к городу не приблизился.

— Значит, из кулаков?

— Нет. Батя был самый бедный. Лошади сроду не имел, в батраках ишачил. Когда совсем худо стало и мамка померла, мы с батей двинули на шахты. Там, конечно, тоже не сахар. Но не голодали хоть. Только вот батя мой захворал и помер. Я поплакал, взял свои нешиша и стал бродяжить. Месяц потружусь, на скандал напорюсь и опять в бродяги. Добродяжился, меня предупредили, заставили на завод устроиться. Месяц-другой прошел, я поскандалил, всех облаял как мог, на заем не пожелал подписаться. Меня уговаривают, а я кобенюсь: дело, мол, добровольное, катитесь туда-то. Мне и показали «добровольное». Вот и еду.

— Да, неладно вышло.

— Сейчас все грызу себя: ах, чудило ты, чудило. В деревню надо было возвращаться. Ведь ни я без нее, ни она без меня не можем никак. Жил бы себе, трудился бы на родной земле, привык бы к колхозу.

— Ну, раз такое настроение, вернетесь в деревню. Срок отбудете и вернетесь.

— Да, отбудешь срок при моем характере!— Агапкин переменял тон и напал на меня за здорово живешь:— Чего это ты ко мне привязался: «неладно», «отбудете срок». Научился, сопляк, у комиссаров агитацию разводить!

— Слушайте, Агапкин, что вы вскинулись? Сами со мной заговорили.

— Ну да, заговорил. Нужен ты мне! Иди ты к едрене фене!

Вот я и представил тебе всех обитателей вагон-

зака. Почти всех. Один словно провалился в памяти. Мучительно старался вспомнить его, не смог.

ОДНИМ МЕНЬШЕ

— Одним меньше, одним больше, какая разница! Такой фразой, брошенной неизвестно кем, началось новое утро. Очень рано, еще до поверки, Мякишев увидел торчавшие из-под нар суконные, с резиновой боты. На обледенелом железном полу лежал мертвый Ланин. Вежливый неразговорчивый инженер умолк навсегда, и, таким образом, наш вагон потерял единственного «вредителя», о котором ровно ничего не знал.

Только теперь дошел до нас смысл позабавившей всех вчерашней сцены между Ланиным и Петровым. Инженер под вечер подозвал жулика, отдал ему свою знаменитую шубу и шапку, громко сказал:

— Товарищи, минутку внимания! Я хочу, чтобы вы все видели: я по доброй воле меняюсь одеждой с гражданином Петровым. Отдаю шубу и меховую шапку, а он мне свои вещи.

Жулик молниеносно скинул рваный бушлат, ватные штаны и шапчонку, оставшись в каких-то мятых портках и телогрейке. Столь же молниеносно надел ланинскую шубу и шапку и снова превратился в комичного царя из сказки. Опасаясь, видимо, как бы кто-нибудь опять не помешал честному обмену, кинулся на свое место и затаился, как мышь.

Посмеялись трудно объяснимой причуде инженера. Мякишев пошутил:

— Мы что, мы не возражаем, раз Петров соглашается.

— Видно, невтерпеж ему щеголять здесь в шикарном виде,— объяснил Володя поступок инженера.

Зимину, сидевшему с нами, обмен не понравился. Он заговорил с Ланиным, но получил отпор:

— Оставьте меня в покое, прошу вас.

Значит, уже вчера Ланин закончил расчеты с жизнью.

Извлеченное на свет божий (не очень яркий в вагоне), заочневшее тело лежало на полу меж нарами, а вокруг него замерли притихшие, растерянные товарищи по несчастью. Синее лицо самоубийцы с

высунутым изо рта распухшим языком было неузнаваемо и страшно, сухие, восковые руки согнуты в невероятном усилии затянуть потуже шнурок на шее. На безымянном пальце правой руки поблескивало обручальное кольцо.

Вагон обменивался впечатлениями:

— Как он сумел шнурком-то?

— Дай ему телеграмму на тот свет, он объяснит.

— Я говорю, тяжело такую удавку сделать.

— А ты пробовал?

— Не пробовал, но думаю, что повеситься легче.

Прыгнул — и все.

— Чудак, легче! Попробуй.

— Да... Лежал и давился. И не кричал, не хрипел, чтобы не помешали.

— Хватит вам болтать-то! Устроили дискуссию.

Володя достал носовой платок и накрыл лицо Ланина. Хотел отвести от лица и уложить руки, они не разгибались, пружинно возвращались в прежнее положение. Будто подстегнутый этим, Володя полез к окошку и начал кричать конвою. Я и еще несколько человек принялись стучать. Долго не удавалось достучаться и докричаться — поезд был на ходу. Наконец нас услышали. Вернее, просто пришло время поезда остановиться.

Начкон с четырьмя бойцами забрался в вагон и прежде всего произвел поверку. Все оказались на месте, только Ланин не откликнулся (начкон и его выкрикнул). Нам приказали не сходить с нар.

— Как это случилось? — спросил охранник.

Мы загалдели, зашумели. Начальник конвоя — собранный, подтянутый парень — сказал «по порядку, не хором», вынул из планшетки карандаш и бумагу и приготовился писать акт.

— Говорите вы хотя бы, — предложил он Зимину, остановив взгляд на его очках.

Зимин коротко все изложил.

— Записку не оставил?

— Нет как будто. В карманах и вещах его мы не смотрели.

— И все молчал, говорите?

— Молчал.

— А вчера по своей инициативе отдал Петрову шубу?

— Поменялся одеждой. Обратился ко всем, подчеркнул, мол, по доброй воле меняюсь.

— А не проиграли вы его?— громко спросил начальник конвоя.— Шуба-то большой цены вещь.

Зимин не сдержал улыбки: смешным показалось предположение, не участвовал ли он, Зимин, в проигрыше человека.

— Петров-Ганибесов, я вас спрашиваю. Подойдите!— повысил голос охранник. Он сидел на подставленной ему табуретке, бойцы стояли с винтовками на изготовку, мы все лежали на нарах головами к проходу.

Петров, несуразный в ланинской шубе и шапке, с грязным лицом, спрыгнул с нар и стал перед охранником.

— Напрасно вы, гражданин начальник, так думаете. В карты мы не играем, на Беломорканале перевоспитались.

— Перевоспитались? И опять в лагерь перевоспитываться едете?

— Не трогал я его, век свободы не видать! Вчера он сам предложил шубу. В обмен на бушлат. Спросите у всех.

Петров говорил жалобно, плаксиво. Не хватало только слезы.

— Значит, Ланин сам отдал вещи?— спросил снова начальник конвоя, ощупывая Петрова внимательным взглядом от бобровой шапки до резиновых сапог.

— Да, мы подтверждаем,— заявил Зимин.— Совершенно очевидно, Ланин покончил жизнь самоубийством.

— Вот видите, гражданин начальник!— обрадовался Петров.— Они подтверждают.

— Помолчите!

Начальник конвоя писал акт, уточняя подробности. Один из бойцов осмотрел по его указанию вещи Ланина, вывернул карманы брюк и пиджака, нашел сколько-то денег. Записки или письма не нашлось. Охранник аккуратно пересчитал деньги и занес в акт, записал вещи: шарф, полотенце, носки, мыльница, зубная щетка, грязное белье.

— Гражданин начальник, смотрите, у него на пальце обручальное кольцо.— Это Петров опять подал голос.

— Ну и что? Женатый, значит, человек.

— Да я не о том. Неужели колечку пропадать? Отдайте его мне, он забыл подарить.

— Бросьте вы, Петров! Как не стыдно!— возмутился Володя.— Будьте хоть пять минут человеком.

— Идите на место, Петров-Ганибесов!— приказал начкон, он пристально смотрел на Володю, оценивал его реплику.

В раздвинутую дверь сильно дуло, вагон совсем простыл. От холода и волнения у нас, что называется, не попадал зуб на зуб.

Наконец начальник конвоя закончил акт, расписался и позвал для подписки Зимины и тех, кто сидел и лежал поближе. Двое бойцов, повинувшись его жесту, взяли труп и мгновенно вытащили из вагона.

Самоубийство Ланина словно придавило всех нас. Казалось, даже урки забыли свои самодельные карточки. Ведь Ланина и не знали совсем, за долгие-долгие дни он произнес от силы десять слов, его никогда не было видно и слышно, разве что на поверке.

Кто же он, этот человек? Вредитель? Кому и чем навредил? Как же теперь его семья? Что заставило его поступить так безоглядно? Непорядочность беды, тяжесть вины, горечь обиды? Или непереносимые муки неволи?

— Страх-шно, братики!— протянул Петро Ващенко.— Поставил я себя на его место...

— Как он мог!.. У него ведь жена, дети, друзья,— Володя говорил с возмущением.

— А как понять: сильный он человек или наоборот?— робко поинтересовался Агошин.

Возник спор, захвативший весь вагон. В самом деле, как понять поступок инженера: слабость или мужество, отчаяние растерявшегося человека или жесткая решимость?

— Слабость, конечно. Упадок воли,— свое мнение Володя высказал твердо и безоговорочно.— Трусость!

— Медицина считает: это болезнь, шизофрения,— заявил Гамузов.

— Молодец!— громко прогудел с той стороны Воробьев.— Силу воли показал. Раз — и кончил волюнку, отмутился! Мол, идите вы к матери!..

— Гордый и сильный человек. Не то что мы, дерьмо. Будем скрипеть, мучиться, пока не выдохнемся, пока не подохнем,— это с досадой и раздражением сказал Дорофеев.

— Будем собирать задницами пинки, будем поддакивать, как наш Пиккиев, всем и каждому. Лизать будем лапы всем начальникам, всем охранникам и даже их собакам,— Сашко хихикал тоненько, будто довольный нарисованной им картиной.

— Не лизать лапы, не поддакивать. Доказывать свою правоту, если уверен в ней,— возразил Фетисов.

— Как доказывать? Вон как урки, что ли, из тюрьмы в лагерь и обратно?

— Эй, куркуль! Урок не лапай!

— Лежал человек и мучился, надрывал сердце без конца. Теперь ему хорошо.

— Плохо ли ему? Никто не крикнет на тебя, никто не обидит. Молодец инженер!

В смерти человека всегда есть тайна. Особенно жгуча и тягостна смерть самоубийцы. А этот даже записки не оставил, не объявил последней воли. Всем безразличный при жизни, он теперь задел каждого.

В словах Воробьева, Дорофеева, Ващенко, Севастьянова, Мякишева слышалось уважение, даже зависть. А мы, сосунки, по определению Мякишева, мы не знали, как отнестись к событию, к самому Ланину. И Коля, и я, и Фролов, и Феофанов — все мы сошлись на одном: я б не мог ни утопиться, ни выстрелить в висок, ни отравиться ядом, ни тем более так вот удавиться. Значит, он сильнее, мужественнее, решительнее нас, он смог.

— То, что вы говорите, ложь, самоутешение!— Зимин сидел на нарах, свесив ноги. Очки его поблескивали.— Поступок прежде всего непоправимый: жизнь человеку дается единственный раз. Еще Наполеон говорил: самоубийца может пожалеть себя в воскресенье, когда будет уже поздно, ведь он убил себя в субботу. По отношению к себе обидно, по отношению к близким, даже по отношению к нам, мыкавшим общее с ним горе, обидно.

— Плевал он на всех!— с удовольствием выкрикнул Воробьев и, высунувшись из-под нар, смачно сплюнул.

— Да, наплевал на всех, на всех и на самого се-

бя. Так может поступить человек только в минуту душевного разлада. Жизни жаждет даже умирающий от ран.

— В нашей-то муке чего ради жаждать жизни?

— Ложь, Дорофеев. Всегда в человеке сидит жажда жизни и борьбы. Удержи Ланина в тот момент сильная, твердая рука — и беды не случилось бы, он устоял бы на краю обрыва.

— Что же ты не помог, твердая, сильная рука?— грубо и насмешливо спросил Воробьев.

Зимин не поддержал пикировку:

— Я жалею, что не помог. Если б знать, что он задумал! Вчера я не зря подошел к нему. Меня смутила эта история с шубой. Он не мог так просто затеять вторично спектакль с обменом. Надо было не отступаться, проявить упорство. Не оказалось рядом надежной товарищеской руки, не оказалось...

В вагоне стало тихо, так тихо, как никогда. Даже прекратились скрипы рессор, лязганье колес, будто вагон сам вдруг замер, прислушиваясь.

— Прости нас, грешных,— проныл Севастьянов.

— Чтобы вы ни говорили, на кого бы ни ссылались, на бога ли, на черта ли, на докторов, я скажу: молодец!— упрямо и громко заявил Воробьев.— Нечего жалеть его, лучше пожалей нас. Я его уважаю, вот и все.

— Наверное, он был достоин уважения,— так же тихо и сердечно продолжил Зимин.— Вот вы, Дорофеев, и вы, Воробьев, шумите: жизнь, мол, наша ничего не стоит, а сами знаете, что порвать с ней невозможно. Есть другой выход: жить. Ради чего-то жил Ланин до ареста, чего-то хотел? Взял и все оборвал. Если тебя несправедливо обидели, изо всех сил доказывай свою правоту. У него, наверное, дети, как он не вспомнил о них? Если тебя жжет ощущение вины, думай, как оправдаться. Наберись сил и терпения и живи, черт побери! Ланин на все махнул рукой. Почему он не доверился нам? Мы ведь ему не браги. «Оставьте меня в покое». Оттолкнул меня, боялся, что я удержу его.

Павел Матвеевич говорил с волнением и очень твердо. Горечь и обида звучали в его мыслях вслух. Ни Воробьев, ни Дорофеев, ни Севастьянов больше уже не перебивали Зимины воплями и руганью. До

меня вдруг дошло: Зимин хочет во что бы то ни стало рассеять подавленность и упадок. Никто не двигался, никто не кричал — все ждали еще чего-то от Зимина. Помолчав, он опять заговорил:

— Представьте себе, Воробьев, вчера ваш сосед Ланин заводит с вами разговор, просит совета: кончить ему волюнку или еще потерпеть? Прыгнуть с обрыва или отойти? Он вас спрашивает, что вы ему скажете? Неужели посоветуете плюнуть на все?

Снова к нам в вагон вползла тишина. Воробьев молчал и, видимо, чувствовал — ждут его ответа.

— Что же вы молчите, Воробьев?— торопил Зимин.

— Эх, комиссар! Я вижу, ты считаешь меня за последнюю сволочь,— Воробьев, явно возмущенный, зашелся в длительной матерщине. Передохнув, он сказал:— Вот если б ты попросил у меня совета, я б не задумался ни на минуту, я б тебе сказал: давай прыгай!

Словно вздохнули разом всем вагоном. А затем дружно рассмеялись.

ПОБЕГ КОЛИ БАКИНА

Ни у кого больше не оставалось еды, принесенной родными к этапу. Оставались только воспоминания о ней и казенная пища: пайка хлеба, чаще всего мерзлого, и жесткая ржавая селедка, но и ее уже который день заменяет камбала, смердящая так, что каждый старается не брать ее или, взяв, немедленно избавиться. Бойцы конвоя насмешничают: рыба вам не по вкусу, ветчинкой заменить? Сию минуту, обождите, несем.

Мы просим горячей баланды, однако за всю дорогу лишь раз нам выпало отведать щей. Без мяса, без навару, пустые, они все равно запомнились.

Обитатели вагона тощат и стараются поддержать себя покупным, на свои деньги, продовольствием. Но на редкой станции можно что-либо достать. Да и деньги, те, что на сохранении у конвоя или тайком переданные при свидании, есть не у всех.

Володя свои запасы имени двух Надежд не столько съел, сколько роздал — мне, Петру, Кольке, Ко-

ролю Лиру, тому, кто попросит. Мои деньги шли для нашей компании на покупку хлеба и дешевой колбасы, очевидно конской, либо слипшихся комом конфет-подушечек. Да и деньжата моя почти все уже растаяли. Помогали продуктами и деньгами Зимин и Фетисов да еще Мякишев и Агошин. Мосолов тоже вроде поддерживал своих. Самый богатый был «врач без пяти минут», однако он ни с кем не делился.

Урки, как водится, промышляли неустанно — в течение дня вспыхивали конфликты из-за пропажи. Вспыхивали и угасали: не пойман — не вор, к кому претензии? Не зевай, держись за свой кус обеими руками.

Однако уже несколько дней мы ничего не покупаем, до отказа затянуты пояса. Нас держат на пайке, отказываются покупать продукты в станционных ларьках. Виноват Коля Бакин. Поспорил с урками: мол, на стоянке через окошко сумеет нанизать на штык часового одну или две плоские камбалы.

Мы об этом не знали, а блатные втянулись в игру, заключили пари и ждали момента. По условию, для выигрыша Коле и тем, кто за него, достаточно одной рыбины, накинута на штык. В случае, если накидывалась вторая рыбина, выигрыш увеличивался. Игра так увлекла жуликов, что они забыли даже карты. У Коли, я так понимаю, истинная подоплека затей — мечта о реванше, овладевшая им с того момента, когда по приказу «лягай и не вертухайся» он ринулся лицом в снег.

Дождавшись подходящей остановки, Коля и спорщики прильнули к окошку. Внизу на обычном месте стоял часовой. Нет нужды объяснять — Колин недруг: тот самый мордатый парень.

Просунув сквозь решетку руку с рыбиной, Коля примерился и ловко набросил зловонную камбалину на штык. Часовой не успел и шевельнуться, как вторая рыбина оказалась там же. С воплями восторга и одобрения урки отпрянули от окошка.

Скандал! Бойцы конвоя разъярились. Начкон пытался вызнать: кто учинил безобразие, часовой есть священная особа. Арестанты пожимали плечами: не знаем, не видели (многие действительно не обратили внимания). За молчание или, по словам старшего охранника, за сокрытие виновного вагон был наказан

целиком: нас лишили права покупать продукты на остановках.

Часовой все-таки заподозрил Кольку, и его вызвали на допрос к начкону. Мы уже горевали: пропал малый. Но часа через три Колька вернулся — довольный и очень веселый.

— Ничего не добились, лягавые, — гордо заявил он.

Судя по распухшей губе и красным ушам, Коля схватил у начкона банок. Этим он не хвастался. Стоило ли обращать внимание на несколько плюх, когда он своего добился.

К удивлению Коли, никто его не похвалил, никто им не восхищался... Фетисов и Володя, наоборот, отругали.

— Я же на пари пошел, — оправдывался Бакин. — Должен был отомстить. Он меня чуть не угрехал, деревенщина.

— Дуралей, накаверзил и подвел всех, — выговаривал Фетисов. — Сейчас на этой станции подкрепились бы провиантом, а по твоей милости придется рукава жевать. Доходим ведь, не соображаешь?

— Я как-то не подумал, — огорчился Коля и предложил: — Давайте попрошусь к начкону, признаюсь.

— Еще чего! Сиди уж теперь, помалкивай.

Сильнее других страдавший от недоедания, Петро Ващенко попросил Зимина и Фетисова объяснить все же с конвоем. После очередной проверки Зимин вступил в переговоры:

— Люди катастрофически слабеют, кое у кого начинается цинга. Мы строго возьмемся за молодняк, только отмените запрет. Мы еще пригодимся государству. Да просто пожалейте людей.

— «Люди», — усмехнулся начкон. — К чему эти хорошие слова? Какое они имеют отношение к вам? Вы преступники, враги народа.

Презрение, ненависть в глазах и в голосе его заставили нас всех содрогнуться. Зимин продолжал уговаривать начальника: лагерь заинтересован в рабочих, а не в больных. Этап продлится долго, конца ему не видать. Приедут доходяги, инвалиды. А ведь можно этого избежать?

Начальник, не слушая, выпрыгнул из вагона и, прежде чем задвинуть тяжелую дверь, поднял глаза на Зимина.

— Получаете все, что положено заключенным в этапе. Льгот не заслуживаете. Я зря раньше разрешил покупку.

И дверь с грохотом пошла на место.

— Видишь, браток, что ты наделал?— простонал Ващенко.— Подохну, сил нет больше.

Колька побелел и, мигом вскочив на верхние нары, заорал в окошко:

— Конвой! Конвой! Я хочу сделать заявление! Это я придумал с часовым.

Володя и я насилу стащили Бакина с верхних нар. Хорошо, конвой не слышал его крика.

Четверо суток, еще четверо долгих суток проскрипели. Может быть, завтра разрешат купить продукты. Недоедание превратилось в постоянный голод, мы все больше думали о еде.

Вечером мы с Володей умяли последнюю треть пайки и шепотком завели беседу на темы, далекие от еды. Говорили о театре, о любимых актерах, о литературных вечерах в Политехническом. Володя тоже любил Маяковского. Он знал наизусть много его стихов — пожалуй, больше, чем я. Читал Володя чуть слышно, только для меня, чтоб никому не мешать и чтоб другие не влезли в наш разговор.

Я рассказал о молодом поэте Ярославе Смелякове. Мы с Машей слышали его на вечере в клубе железнодорожников (знаешь, круглое здание на Каланчевке?). Володе понравились стихи:

Посредине лета высыхают губы.
Отойдем в сторонку, сядем на диван...

Пришел Коля Бакин и пристроился рядом. Он часто к нам присоединялся, заметив, что кто-то из соседей «в гостях». Иначе ведь не ляжешь.

— Я убегу,— послушав, невпопад сказал Коля.— Завтра или даже сегодня. Не поминайте лихом, ребята.

Мы не раз слышали его «убегу» и улыбались в ответ. Смеялись над попытками расковырять пол.

— Моя милиция меня бережет. Зачем бежать от нее?

— Не смейся, Митя. Если не убегу, руки наложу на себя, как Ланин. Товарищей подвел, сукин я сын. Убе-

гу. Шишка меня ждет, мать мучается. Я должен вырваться!

Голос у него дрожал. Володя молчал, он сердился на Колю за историю с часовым, разговоры о побеге считал болтовней. Я утешал Колю, чувствовал его волнение. Потом он вдруг назвал мой адрес в Москве и спросил: «Верно?» Я подтвердил, смеясь: «Зачем тебе?» Он не ответил. Молча и спокойно лежал рядом, и я решил, что уснул. Но Коля вдруг зашевелился, обнял меня, прижался щекой к щеке и ушел.

Ночью, когда после стоянки неутомимый наш поезд снова устремился в неизвестность, заключенные стали укладываться спать под привычный стук, скрежет и повизгивание вагона. В это время, едва видимые при свете свечного огарка, начали свою упрямую работу Коля и Редько. Другие охотники бежать давно отстали, убедившись, что железо не возьмешь голыми руками. Пронеслись из конца в конец вагона уже привычные шутки и просьбы не забыть закрыть дверь за собой или прислать с воли посылку с колбасой, сыром и салом.

Я вдруг встревожился: а ну как добьются своего? Коля был какой-то странный... Я сказал Володе о моей тревоге.

— Спи, не думай,— отозвался тот сонным голосом.— Попыхтят и бросят. Ногтями тут свободу не добудешь, прочно сделано. Да и глупо: куда бежать?

В самом деле, куда бежать? И от кого?

С мыслями о Коле я уснул. И сразу проснулся. Что-то разбудило? Морозное дуновение, ощутимо коснувшееся лица? Или отрывистые негромкие голоса? Если бы не скрип вагона и не перестук колес, можно было подумать: вагон остановился и кто-то к нам зашел.

Бешено заколотилось сердце, я догадался прежде, чем увидел. Колька. Колька, совсем не смешные оказались твои проекты! Не хотелось открывать глаза, не хотелось видеть постылый вагон. И лучше бы не слушать тревожный разговор.

— Ничего не трогай, ни единой щепочки! Пусть все так и будет.

— А я выхожу к параше и вижу: батюшки!..

Севастьянов первый обнаружил пролом в полу, через него и выскочили на ходу поезда беглецы. Неда-

ром прощался со мной Коля. Ты ошибся, Володя, свободу, если очень жаждешь ее, можно, оказывается, выцарапать и ногтями!

Разглядывали лаз и обсуждали: как они его прогрызли? Вот этот верхний железный брус каким-то образом отодрали и с его помощью отогнули железный лист, выломали деревянный настил. В деревянном-то полу достаточно вытащить две доски.

Выясняли — кто убежал? Вернее, убежал ли кто-нибудь еще кроме Бакина и Редько? Пересчитали наличие: так и есть — не хватало только тех двоих.

— Надо звать конвой,— сказал Севастьянов.

Схватил железный брус и принялся колотить им в дверь, истошно крича:

— Конвой, тревога! Конвой!

— Брось!— И Мосолов вырвал у него брус.— Пусть умотают подальше. Хай поднимешь, когда состав остановится.

— Нас по головке тоже не погладят, хотя мы ни при чем.

— Новое дело могут пришить всем.

— Всем не пришьют.

— Бегите, ребята,— посоветовал Мякишев.— Ныряйте! Я бы попробовал, помоложе будь.

Елатные во главе с Петровым молча глазели в пролом, откуда валил морозный воздух. Он был свежий, острый и задорный, как и подобает воздуху свободы.

— Пустой номер,— вздохнул Петров, запахивая шубу.— Поважет ближайший оперпост. Тут их на дороге до черта. С собачками. Потравят или прихлопнут. Живыми и брать не будут. А не повяжут — сами сдадутся. Мороз, холодище. Шамать неча.

Долго возле Колиной дыры шла дискуссия: далеко ли сумеют уйти, прихлопнут или нет, как побегут — сразу станут пристраиваться к проходящим поездам или попробуют спрятаться, как будут питаться.

— Тут спрячешься, если только в землю, метров на пять в глубину,— объявил Кулаков.— Зеленые они оба, щенки... Гулять им недолго. На полную железку сработали.

— Никак не ждал, что станут рвать когти. Озорничают, мол, пацаны, играют, силу девать некуда.— Мосолов виновато развел руками.

— Пустой номер,— снова вздохнул Петров.— А нас ждет большой шухер.

Я глядел на клубами врывающийся мороз и пытался представить себе Колю в эту минуту. Подошел Володя и молча стал рядом. Колька, Колька, увижу ли я тебя еще?

— Отойдите-ка, молодцы! Полюбовались волей, и хватит. Холодно.— Мякишев, собравший по вагону воров тряпья, стал затыкать пролом.

— Товарищи-граждане, будет большой мандраж!— громко сказал Мосолов. Он с тревогой смотрел на меня и Володю.— Брать надо на бога: не видели и не слышали.

— Я тоже говорю,— подтвердил Петров.— В таких случаях легаши с ума сходят, прямо звереют.

— Им за побег серьезно отвечать приходится. Готовьтесь ко всему — и стрелять будут, и драться, и вязать новое дело. Митя,— неожиданно повернулся Мосолов ко мне,— кто-нибудь обязательно про тебя трепанет: кореша, мол, они с Бакиным.

— Я и не собираюсь скрывать, что мы друзья.

— Ему не сможешь, а перед конвоем как раз не надо это подчеркивать. Привяжутся, сунут в изолятор, пропадешь.

— Игорь верно говорит, Митя,— Зимин взял меня за руку.

Что они так разволновались? Особенно удивил Мосолов, так мог заботиться обо мне старший брат. Отвернувшись, он громко обратился к вагону:

— Я хочу предупредить, если кто продаст Митю, пусть пишет завещание. Все равно узнаем.

— Стась, на кой тебе фраерок?— ревниво спросил Голубев.

— Заткнись!— посоветовал Мосолов и треснул своего соседа по спине.

— Лучше продавайте меня, кто хочет спасти шкуру,— мрачно сказал Володя.— Я ведь тоже дружил с Колей.

— Хватит,— рассердился Фетисов.— Никто никого не должен продавать.

Блатные точно предсказали. Едва этап остановился и конвой узнал о побеге, начался переполох. Нас всех кулаками, пинками и прикладами вытолкали из вагона и оцепили. Начкон сделал проверку. В ваго-

не обследовали буквально каждый сантиметр, особенно внимательно осмотрели злополучную щель. Трое бойцов заделывали пролом.

Мы торчали на морозе, довольные хотя бы тем, что дышим свежим воздухом. Начкон вызывал нас по очереди. Меня выкликнули последним. Перед этим Володя и Зимин внушали:

— Не подведи Кольку и себя, Мосолов правильно предупреждал: кто-нибудь да скажет, что ты дружил с Колей.

— «Не подведи»! За кого меня принимаете? Сами не подведите!

— Врать ты не умеешь, Митя. А надо. Речь идет о том, чтобы не проговориться: Колька непременно будет пробираться в Москву, к Нинке и к матери. Остальное не имеет значения. Впрочем, насчет Москвы и матери они сами догадаются. А вдруг и не догадаются. Про Нинку могут не знать.

Договорились: будем молчать во что бы то ни стало.

Начальник конвоя сидел в купе жесткого пассажирского вагона. Перед ним на вагонном столике бумага, чернильница-непроливайка и ученическая ручка. Рядом с начальником на лавке какой-то военный; как решили, бывшие уже на допросе урки, уполномоченный линейного НКВД. В вагоне было тепло, оба без шапок и шинелей.

— Что же не бежали с вашим дружком?— спросил начкон.

Я пожал плечами. Значит, какой-то пес уже сообщил обо мне, не помогло предупреждение Мосолова. Эх, люди. Обидно!

— Что можете сказать о побеге? Кто помогал?

— Не знаю. Спал, ничего не видел и не слышал.

— Ну да, «спал»! Ломали железный пол, доски отрывали, а он спал, видите ли.

— За дураков считаете нас, Промыслов.— Уполномоченный укоризненно покачал головой.

— Не слышал, правда. Я уж если усну — пушкой не разбудишь.

— Не могли же они вдвоем расковырять пол. Кто помогал?

— По-моему, никто. Если бы кто помогал, убежал бы тоже. Когда утром мы узнали об этом, все удив-

лялись, как это Бакин и Редько сумели сделать такой пролом.

— Предположим, они сами сделали пролом. Но не видеть, как они это проворачивали, не могли. И наверняка вы, именно вы, Промыслов, знали о намерении Бакина.

— Не говорил он мне о намерении бежать. Я ничего не знал.

Начкон и уполномоченный переглянулись. Уполномоченный не сводил с меня тяжелого взгляда.

— Зря упрямитесь. Потом будете жалеть. Кто молчит или пытается сбить нас с толку — в карцер угодит и льгот лишится до конца этапа. Кроме того, выхлопочем штрафизолятор по прибытии в лагерь.

— Вы представляете, что такое штрафизолятор? Особый режим, тюрьма в лагере. Не советуем добиваться его.

Я опять пожал плечами. Хотел сказать: хуже не будет. Но сдержался.

— Все говорят: Бакин — ваш друг. Зря отпираетесь, отказываетесь от приятеля.

— Я не отказываюсь. Мы здесь действительно подружились.

— Но как же он мог не сказать другу о главном?

— О побеге не говорили ни разу. — Я твердо сказал это, не опуская глаз под взглядами уполномоченного и начкона. Ждал другого вопроса. И он последовал:

— Промыслов, вы же знаете — почему он убежал, куда? У вас не было причины — и вы не убежали. А у него была цель. Какая? Скажите!

— Не знаю я, не знаю!

— Не будьте дурачком. Если не скажете, накажем. Отдадим под суд за соучастие.

— Я не знаю, зачем и куда он бежал. Как вы не понимаете: всем так тяжело, что говорить о чем-то серьезном нет охоты. С Бакиным мы играли в «жучка», шутили, пели песни. Надо же как-то коротать время. А знал бы о его намерении — не пустил бы, говорил.

Они опять переглянулись, и мне показалось — поверили. Я в самом деле жалел, что не удержал Колю, просто не верил в серьезность его плана.

— Ваш приятель — хороший фрукт! Ведь это он

устроил издевку над часовым. Вы все покрыли Бакина. И пострадали из-за его глупости. Сейчас опять круговая порука.

Больше мне вопросов не задавали. Начальник конвоя писал протокол. Уполномоченный смотрел на меня. Его взгляд смущал, выводил из себя. Что ему нужно?

— Промыслов Михаил Иванович — отец ваш? — вдруг спросил уполномоченный. Вопрос был неожиданный, я едва не упал.

— Он написал вам? Он хлопочет? Где он? — закричал я.

Уполномоченный молчал. Он пытливо разглядывал меня.

— Что ж вы не отвечаете? — теперь я спрашивал.

— Я когда-то работал под началом Михаила Ивановича. Он в партию меня рекомендовал. Поручился, когда послали в органы. Настоящий большевик. Обидно.

— Что обидно? Скажите, где он?

— Обидно, что у него... такой сын.

Уполномоченный крикнул, поднялся и ушел. Начкон продолжал составлять протокол. Он долго, немислимо долго писал. Меня качало и мутило от усталости, от голода, от горьких мыслей о себе, об отце, о Кольке. Лучше бы не встречаться мне с уполномоченным. Словно отец сам прошел мимо меня. «Обидно, что у него... такой сын». Лучше бы мне убежать с Колькой. А еще лучше умереть.

Наконец начкон протянул листы протокола. Все было правильно написано, замечательным почерком. Я подписал.

Вернулся уполномоченный, он больше не смотрел на меня, я больше для него не существовал.

— Можете вернуться в вагон, — сказал начкон.

А уполномоченный уткнулся в бумаги. Я пошел к выходу и, открыв дверь, за которой стоял боец с винтовкой, повернулся. Не мог, не мог я уйти, не поговорив с этим человеком! Они оба молча смотрели мне вслед.

— Идите, идите, — торопил начкон.

— Ради отца поверьте, не враг я, не враг!

— Промыслов, ступайте!

— Передайте отцу, прошу вас: я ни в чем не срамил его имени.

— Вы что, не понимаете русского языка?

Я вышел на мороз, к своим. Закоченевшие, полуживые от усталости, голодные, они еще торчали на улице. Меня встретили тревожные взгляды Володи, Зимины, Фетисова.

— Хлопчик, милый,— прошелестел Петро, еле шевеля синими губами. Допрос длился очень долго, они и не надеялись меня увидеть.

Уже в фиолетовых зимних сумерках нас вернули в отремонтированный вагон. Вещи наши были свалены в кучу. Начкон поднялся вслед за нами и объявил:

— За круговую поруку, за нечестное поведение на следствии, за нежелание помочь органам вы лишаетесь всех льгот до конца этапа. Никаких газет, никакой переписки с родными, никаких продуктов за свой счет. По прибытии на место буду ходатайствовать о водворении всех в штрафной изолятор.

— До места-то не доехать, сдохнем!— простонал Петро.

Начкон, приготовившийся выпрыгнуть из вагона, обернулся.

— Одумаетесь и захотите помочь нам — наказание отменим. Вот Промыслов, если захочет, может помочь и нам и всем вам. Воздействуйте на него. Все равно беглецов поймают.

До поздней ночи обитатели вагона разбирали при свете огарка свои пожитки, спорили, ругались. Поносили Кольку — из-за него совсем худо. Кидались на меня: мог бы помочь, если б хотел. Володя и Фетисов яростно защищали меня. Я лежал, равнодушный ко всему. Ругают, защищают — какое это имеет значение? Какая разница — голодный ты или нет, холодно тебе или нет, если ты лишен главного: свободы?

Ты спрашиваешь: поймали Колю или нет? Поймали. В Москве... Немыслимо понять, как удалось им проскочить несколько тысяч километров и ускользнуть от всех оперпостов, от всех опасностей. Они оказались не такими уж зелеными пацанами. По-моему, тут сыграли роль и неистовое упорство Бакина, и сноровка его напарника. В самой Москве Редько сразу нашел корешей. Какое-то время, насколько я понимаю, они отсиживались в воровской малине.

Но Коля не был бы самим собой, если бы, добрав-

шись до Москвы, продолжал спокойно отсиживаться. Он совершил побег, чтобы вернуться к Нинке и к маме. И он стал действовать. Нинку выследил на улице, а к маме пришел глубокой ночью. Тишина улицы и неумение хитрить сгубили его. Коля попал в засаду, яростно сопротивлялся и был убит.

— Откуда же... откуда ты узнал?

— От матери... Уже потом, много времени спустя. Самым удивительным было то, что дома в Москве меня долго дожидалось его письмо (недаром в вагоне он спросил у меня адрес). Несколько страничек из школьной тетрадки и большие красивые буквы, выведенные твердой рукой чертежника. Он написал моей маме, что я жив, здоров, вот-вот вернусь.

— Митя, почему ты замолчал?

— Сейчас. Извини... Я помню наизусть каждое слово его письма. Оно как крик отчаяния, крик о помощи.

«Митя, третий день я сижу в паршивой хазовке и вспоминаю вагон, тебя. Редько пьет водку и дрыхнет, а я схожу с ума. Сегодня пойду к своим, больше нет мочи терпеть. Митя, я столько повидал после побега из вагона, что стал умный. Только поздно. Одно скажу тебе... Вот теперь, когда мне нельзя и носа высунуть на волю — прихлопнут, как собачонку! — когда нет уже мне места в этой жизни, я вижу, как хорошо жить... Смотрю из подвального окошка и завидую каждому прохожему. Ох, как завидую, Митя, будь счастлив, помни Колю Бакина...»

Многие месяцы, еще не зная про письмо, я думал о судьбе Коли и своей судьбе: может быть, он был прав? Зачем тянуть бесконечную волынку, мучиться в неволе, всю жизнь доказывать, что ты не верблюд? Не лучше ли попытаться хоть раз — хоть раз! — вырваться на волю, побороться за нее всеми своими силами и умереть, глотнув воздух свободы?

НЕВООРУЖЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Житье в нашей тюрьме на колесах стало невыносимым. Мы голодали. Полученную на сутки сухую пайку хлеба растягивали как могли, старались отщи-

пывать и откусывать помаленьку, но хлеб все равно быстро исчезал. А к нему — не каждый день — добавлялся кусочек соленой рыбы (соли больше, чем рыбы) и совсем редко осколочек сахара. Даже вонючую камбалу не выбрасывали, как-то справлялись с ней.

Наши «комиссары» всяко пытались рассеять общее угнетенное настроение, отвлечь от постоянных дум и разговоров о еде. Но добрые попытки эти бывали мало успешны, как и пение Петра и мои байки. И беседы Зимина, и байки, и песни вызывали у голодных людей злость и гнев. Особенно бесились блатные. Они все больше нагтели, все откровеннее заявляли свое право на чужой паек, на чужие вещи. Немалую роль сыграл и запрет хоть изредка покупать продукты.

Петров и Кулаков часто повторяли слова начкона: «Люди? Человеки? Где ты их увидел? Это же фашисты, враги народа».

Все мы сполна испытали на себе нахальство Петрова-Ганибесова. От его былого просительного тона («Войдите, пожалуйста, в положение, я попал в этап сразу из тюрьмы, совсем дохожу») давным-давно не осталось и следа. Посверкивая ножичком, он запросто требовал:

— Давай, тебе говорят! Слышишь?! И хлеб давай, и сахарку.

Облюбовав очередную жертву, Петров прилипал к ней и шипел на ухо:

— Клади пайку и убери свои шупальцы! Не то будут с них косточки. Убери, говорю, шупальцы, перо в бок получишь! Притом же я сифилисный, твою пайку всю залапал, она теперь заразная.

Сколько ни уговаривал Володя — не бояться блатных, не поддаваться им, — многие боялись и подчинялись Петрову и его компании. У них откуда-то взялись ножи и бритвы — чаще всего самодельные. Жулики не решались тронуть только Володю Савелова — он раза два вполне наглядно и убедительно применил свою силу; Зимина и Фетисова они тоже не трогали — даже им, отпетым, эти два человека внушали уважение. Остальных, включая здорового Воробьева, терроризировали. Шелнет Петров или Кулаков словечко — и тот же Воробьев расстается с драгоценной пайкой.

— Зачем отдал?— возмущался Володя.— Так тебе и надо. Дал бы вместо пайки по скуле — быстренько отстали бы.

— Пожалуй, дашь по скуле... У Петрова — нож, у Кулакова — бритва острая, искалечут, гады. Ведь ни стыда, ни совести...

Зимин и Фетисов решили всерьез поговорить с блатными. Улучив момент, когда вся компания сидела за картами, «комиссары» приступили к делу:

— Ребята, надо потолковать. Мы от имени всего вагона.

— Ну-ка, давай, калякай!

— Поучи нас, очкарик-комиссар, уму-разуму.

— Вы перешли все границы. Издеваетесь над людьми, безобразничаете. Нельзя так относиться к товарищам.

— Какие вы нам товарищи? И как это к вам надо относиться?

— Мы тоже, как и вы, заключенные — одинаковый паек, одни условия, надо помогать друг другу, а не отравлять жизнь.

— Ну, это ты брось, «такие же»! Забыл, что нач-кон сказал?

— Вы контра!— заорал Петров.— Вы против государства. Стась, скажи этим фраерам по-научному.

Мосолов промолчал, и вместо него с наивной гордостью подал голос юный Голубев:

— Мы у государства даже на копейку не трогаем!

— Берем только частную собственность,— засмеялся Кулаков.— Верно, Стась?

— Ты, Кулаков, не ерничай, если уж говоришь о государстве,— строго одернул его Фетисов.— Государство трогать вы просто побаиваетесь: за уворовавшую малость схватишь не три года — все десять!

— Ишь ты, юрист! А я говорю тебе: мы уважаем свое государство! А вашу частную собственность, комиссаришки, пока еще не трогали. Сказали б спасибо!

— Не мешает тебе напомнить, что ты не один раз из наших рук принимал хлеб и другую частную собственность!

— Я и сегодня приму твою пайку, если ты не съел еще!

— Вот-вот! Готов отнять последнее!

— Нам не хватает шамовки, и мы добываем ее, как умеем. Кто не желает с нами делиться, пусть сопротивляется,— с ухмылкой предложил Петров.

— Чему учите ребят? Вы уже немолодой человек, Петров! Смотрите, люди едва передвигают ноги. Имейте совесть. Ведь с вами делились продуктами, помогали.

— Кто старое помянет, тому глаз вон или перо в бок!

— Не бери на бога, комиссарик. Хряй отсюда, пока цел!

— Не видишь, мы заняты делом. Смотри, проиграем тебя — тогда держись.

Весь диалог происходил под свист и гогот компании. Мы заметили: Мосолов не принимал участия в перебранке, ни разу не откликнулся на призывы и подначку корешей.

Фетисову надоели улюлюканье и свист, он плюнул и отошел к Володе.

— Человеческого языка не понимают. Павел, брось!— крикнул он Зимину.

Павел Матвеевич не отступался, не обращал внимания на оскорбления. Похоже, ему нравилось разговаривать с урками.

— Мы по-серьезному к вам, а вы как мальчишки,— сказал он, воспользовавшись затишьем.— Ну, а если Савелов и другие возьмутся за вас? Игорь, скажите своим друзьям, пора браться за ум.

Мосолов по-прежнему угрюмо стоял у холодной печи, притопывая. На призыв Зимина не отозвался.

— Вы контра, понимаешь или нет?— яростно завизжал Петров и вскочил. Молчание Мосолова словно подстегнуло его.— «Еле ноги таскают», «товарищество». К черту нам твое товарищество, плюем на него! Сказали бы нам спасибо, что конец ваш приближаем. Верно, Стась?

— Контра вся в расход пойдет!— крикнул Кулаков и захохотал.— Ты ж сам громкую читку газеты устраивал. Кирова не простят вам, очкарик-комиссарик. Не здесь, так в лагере дойдете.

Зимин грустно покачал головой.

— Мы не враги, ребята, не контра. Честные советские люди. Я еще царскую каторгу испытал. Вы

ведь знаете Дзержинского? Вместе с ним в тюрьме сидел. Я старый большевик, как и он. За что же вы и меня и других товарищей обижаете? Какие же мы враги? Вот Фетисов... ленинградский рабочий, коммунист, товарищи поставили его директором завода. Или Митя Промыслов: комсомолец, работал на заводе в Москве и учился. Вы и сами не верите, что он контра. Или Володя Савелов: из беспризорных, без отца-матери, к учению пробился, инженером стал. Или Петр Ващенко — вы любите слушать его пение. Ну, какие же они враги? Кому враги?

Слова Павла Матвеевича произвели на урок впечатление. Мурзин вякнул было — «Кончай пропаганду, комиссарик!» — и приутих под резким, будто молния, взглядом Мосолова.

— Обзовись, что с самим Дзержинским сидел? Я про него много в камерах наслышался. Повидать, правда, не пришлось, — Петров сказал это с завистью и сожалением.

Зимин рассказывал о подпольной работе во времена царизма, о преследованиях, которым подвергались большевики. О Дзержинском, о Свердлове. Очень по-человечески говорил, искренне, сердечно. Фетисов торжествующе поглядывал на Володю: мол, вот оно, большевистское слово.

В следующий же миг все переменялось. Петров запахнул шубу и ухмыльнулся.

— За что ж тебя повязали? — спросил он. — Ты свое отсидел в тюрьме? Ведь власть-то твоя?

— Задарма, что ли, комиссарик?

— Выходит так. Ничего плохого я не сделал, — признался Зимин. — Можете мне поверить: я не враг своей власти.

Едва урки услышали слова Зимина, они подняли дикий гомон. Голубев и Мурзин, привстав на нарах и запустив грязные пальцы в рот, пронзительно свистели.

— Ах ты, кусок фраера!

— Дешевка несчастная, вошь, «сидел с Дзержинским».

Серьезный разговор не состоялся, только потешил жуликов. Неудачная попытка усугубила положение — урки вовсе распоясались. В их картежной игре сразу появился зловещий оттенок. К вечеру они «проиграли» чемодан Гамузова. Сам чемодан, собст-

венно, стоял в изголовье, но, увы, был пуст. Доктор обезумел, его стенания сотрясали воздух до ночи. Блатные только посмеивались в ответ на просьбы вернуть вещи.

Ночью случилось страшное: урки проиграли человека. В темноте Голубев переполз на чужие нары и пытался перерезать горло Сашку. За первое мокрое дело парень взялся неумело, только порезал лицо и шею своей жертве; очень возможно, что пострададал вовсе и не тот, кого проиграли, разве в темноте разберешь? Даже при свете зажженных кем-то свечных огарков в кошмарном оре нельзя было ничего понять.

Голубеву не удалось ускользнуть, «жлобы» схватили его и начали избивать. Воробьев буквально топтал ногами, Севастьянов выкручивал ему руки, окровавленный Сашко бил по лицу, по голове сапогом. Урки истошно вопили, размахивали ножами, но подступиться к рассвирепевшим «жлобам» не решались. Мы с Володей навалились на Воробьева, однако вырвать Голубева из его железных рук не удавалось. Наконец с помощью Мосолова и Агошина «жлобов» потеснили. Голубев был без сознания. Доктор наотрез отказался ему помочь: «Такие люди пускай подыхают». Мякишев, обругав его, взялся приводить парня в чувство.

Выждав, когда в вагоне стало чуть потише, Зимин опять завел разговор с блатными. Стыдил их, взывал к совести, к человеческому достоинству. Петров повторял угрозы насчет «законной правилки». Теперь он обещал расправу всем фраерам, не только проигранному Сашку.

Все измучились за день ругани и скандалов. И Зимин это почувствовал, видимо, умолк. Неожиданно он вдруг сказал:

— Сдается мне теперь, Петров, Ланин не сам убил себя.

— А кто же его?— опешил Петров.

— Вы его проиграли. Начальник конвоя так и предположил тогда, зря мы его разубедили. Знаете, чем вам это грозит?

— Нет, комиссарик, ты мне такое не пришивай!

— Что ты слушаешь? Пошли его!— рычал Кулаков.

— Погоди, погоди! Инженер сам сошел с рельсов, мое дело сторона. На кой было трогать, если он шубу мне отвалил? Все же видели и слышали.

— Мы ошиблись,— сказал Фетисов.— Не мог он сам затянуть шнурок, никак не мог.

— Хочешь, побожусь, очкарик?— предложил пахан.— Лягавый буду, если вру! Воли не видать!

Я посмотрел на Петрова, грязного, тощего, обросшего щетиной, в боброво-хорьковой шубе, и засмеялся. Там и сям в вагоне тоже засмеялись, очень уж нелепым был переход от угроз к оправданию, к обороне.

— Чего смеетесь?— проворчал Петров.— Инженер сыграл в ящик, и нечего зря о нем болтать. Вот чемодан Гамузова, может, и купили. Так ведь жадный он. За жадность наказали его...

Кулаков оборвал пахана и стал что-то ему нашептывать.

— Верно,— вздохнул Петров.— Хватит калякать. Ты нам надоел, комиссар. Убийство мне не пришьешь, шалишь.

Володя вернулся на место, подтолкнул меня, обхватил за плечи и зашептал прямо в ухо:

— Не спишь?

— Нет, думаю.

— Не волновался, что меня долго нет? Вдруг и я устроил побег?

— Надо большую дыру проковырять, чтоб твой торс пролез. Ты просто заседал, Володя. Ну, как?

Он сегодня исчез надолго, и я понял: Зимин собирал коммунистов.

— Серьезное дело, Митя: урки решили расправиться с нами сегодня ночью.

— Что значит расправиться?

— То и значит: устроить варфоломеевскую ночь, пришить меня, Воробьева, Зимина и Фетисова. Остальных зажать в кулак, загнать под нары, не давать еды.

— Надо их самих зажать! Надавать плюх и загнать под нары!

— Тихо, не шуми!— прошипел Володя.— Плюхами не отделаешься. У них ножички и планы очень серьезные.

— Откуда узнали?

— Мосолов рассказал Павлу Матвеевичу. Урки взяли за него: мол, ссучился. Требуют, чтобы он сам расправился с Зиминным и Фетисовым: «Ты рядом лежишь, в обнимку. Вот и поиграй с ними в перышки».

— Так чего же мы ждем?

— Об этом и речь. Надо опередить. Они на страме, и делать все надо тоже по плану, осторожно, с умом.

Разговор мы вели беззвучно, прижимаясь губами к уху. Только так можно было сохранить секрет от соседей.

— Убивать людей мы не можем. Наш план такой: нейтрализовать главаря, то есть Петрова. Остальных без него можно будет призвать к порядку. Понял?

— Нет, не понял. Как нейтрализовать пахана? У него нож. И он настороже. Ты же сам сказал.

— Слушай,— влажно дышал Володя в мое ухо.— Главная роль доверяется нам с тобой. Ты да я, да мы с тобой, чувствуешь? Фетисов, Агошин, Мякишев, Петр Ващенко, Миша Птицын будут помогать, привлекаем самых надежных. Много-то народу не надо, толкучка получится. Ясно?

— Ты не жуй, давай самую суть.

— Ишь, какой темпераментный! Слушай внимательно. Я затею игру в «жучка». Ты и все наши подержите игру. Натуральную, чтобы пахана не испугнуть. Будем играть, пока его не втянем. А втянем — значит, заставим водить. Я дам ему леща, чтоб долой с копыт. И вот здесь ты выступаешь на сцену. Прыгаешь на него и хватаешь за руки, ведь он все время за нож держится. Важно не дать ему очухаться. Я сразу к тебе приду на помощь. Задача остальным не дать развернуться. Петров крикнет: шухер! И вся бражка кинется сразу. Они это умеют.

— А если Петров не втянется в игру?

— Тогда тот же план с небольшим изменением: я даю ему по уху без игры, опять же ты сигаешь и хватаешь за руки.

— А Мосолов?

— За ним будет следить Фетисов на всякий случай. Я настоял: не верю уркам. Зимин ему доверяет. Положение у Мосолова такое: он и нам вреда не хо-

чет, и против своих не пойдет в открытую. Ну, одобряешь план? Голосуешь?

— Одобряю и голосую обеими ногами. С Петровым что потом станем делать?

— Разрежем на куски и зажарим!— засмеялся Володя.— Отнимем нож и уложим под нары. Пусть там повалывается. Во время поверки сдадим конвою.

Мы лежали молча. Я уже отчетливо видел план в действии.

— Дело опасное, рискуешь,— опять прижался губами к моему уху Володя.

— И ты рискуешь.

— Больше некому. За мной первый удар— тут меня не заменишь. Если не хочешь, скажи.

— Ты что?

Я обиделся. Володя снова тихонько засмеялся.

— Ладно, ладно, ты парень смелый и ловкий, тебе доверяется главная роль.

Он потискал меня по-медвежьи, погладил по спине и сразу насторожился, я почувствовал, как напряглось его тело.

— Петров вылез,— шепнул он.— Следи за мной, Митя.

Володя лениво выбрался на площадку между нарами. Здесь был наш клуб, наша столовая и гимнастический зал. Если кому невтерпеж становилось лежать, он выползал поразмяться, постоять у печки.

Мой друг начал свои действия с параша, потом потоптался возле печки, заглянул в нее, пошуровал. Топлива последние дни давали самую малость, и печка остывала. Володя ругнулся и громко сказал:

— Без «жучка» не обойтись. Выходите греться, ребята. У меня лично закоченели руки и ноги. Выходи, Митя, Петро, выходи. Агошин, давай, Птицын! Хватит отлеживать бока!

Мы по одному вылезали на площадку. Петров стоял у печки спиной к двери. Шуба, как видно, не спасала от холода. Пахан пытался одной рукой поймать ускользящее тепло «буржуйки», другую держал в кармане, и мы знали— почему.

— Становись, Петров, погреешься,— дружелюбно предложил Агошин.

Высокий, худой Петров недоверчиво повел глазами на Агошина, на Володю, на спрыгнувшего с нар

Фетисова и не отозвался. «На стреме»,— отметил я про себя.

«Жучок» был и забавой и «топливом». Обычно в него играла добрая треть вагона. И сейчас уже стояли группкой желающие поразмяться. Момент вроде был подходящий: кореша Петрова играли в карты и, следовательно, ни на что не обращали внимания. Мосолов лежал на своем месте, и рядом с ним Зимин.

Володя «водил». Я любовался его выдержкой. Он стоял, отвернувшись, широко расставив ноги. Правой рукой как бы отгораживался, а левая была под мышкой правой руки и прижата к плечу ладонью кверху. По его ладони полагалось бить своей ладонью или накрепко сжатым кулаком.

Я хотел подскочить и ударить, но меня опередил Птицын.

— Кто? — заорали ребята, поднимая кверху большой палец правой руки.

— Фетисов,— ответил Володя, поглядев на партнеров.

— Не он! — заорали они, довольные, что Володя не отгадал.— Становись снова.

Я поймал Володин взгляд.

Пока наш расчет не оправдывался: Петров не изъявлял желаний поиграть. Но за нашей игрой следил с интересом.

Володя снова стал в позицию. Я подскочил и ударил по его широкой твердой ладони. Он даже не шелохнулся.

Обернувшись на возглас «кто?», для интереса взглянул на поднятые вверх наши пальцы и остановился на моем.

— Митя,— сказал он, улыбаясь.— Узнаю по звуку. Звонко бьет и не больно.

— Промыслов, становись! — вопили наши партнеры.

Пришлось мне водить, и за несколько ударов набили руку докрасна. Дважды я мог отгадать, чей удар, но решил потерпеть: надо же как-нибудь втянуть Петрова в игру. Мои неудачи подзадорили болельщиков. Я потирал руку и злился: пахан по-прежнему стоял на месте. Набьют синяков — и без толку!

Отвернувшись, приготовившись к удару, я вдруг

услышал скрипучий неясный шепот. У меня заколотилось сердце. Петров наконец не выдержал.

— Не по правилам,— тоже шепотом возразил Агошин.— Надо, чтобы водящий видел («Нашелся законник! — досадовал я.— Все испортит!»).

— Пусть играет, какая разница,— сказал Володя. Я понял: дает знать мне — Петров в игре.

— Ну? Вы заснули, что ли? — поторопил я, сделав вид, будто не заметил перешептывания за моей спиной.

И тут же почувствовал сильный удар по щеке и по уху, голова качнулась, едва удержался на ногах. Пахан бил не по правилам: поверх ладони и плеча, прямо по уху. Я разозлился и с трудом сдержал себя, очень хотелось дать сдачи. Возможно, удар был неспроста, провокационный.

— Петров,— сказал я возможно спокойнее.— Бьешь, дядя, неправильно. Оглохнуть можно!

— Смотри, щека сразу вздулась,— с возмущением заметил Петро и укорил пахана: — Ты что, взбесился?

— Простим на первый случай,— вступился Володя.

— Ладно, прощаю! — сказал я, потирая щеку.— Становись, води!

— Нежности телячьи! — проворчал Петров, ухмыляясь. Он был доволен ударом.— Играть так играть.

— Верно, тут кулаками надо работать,— одобрил Володя.

— Становись, становись,— торопили Петрова ребята.

Недоверчиво зыркнув на Володю и Фетисова (у меня екнуло сердце), Петров нехотя отвернулся и приложил левую руку к плечу. Правая осталась в кармане.

Не теряя ни мига, Володя молнией метнулся к Петрову и всю мощь своего тела вложил в удар. «Играть так играть!» — злорадно промелькнуло в уме. Урка рухнул с противным заячьим криком. Помня наставления Володи, я с того места, где стоял, рыбкой прыгнул на Петрова и прижал к железному полу. Левую руку его сразу схватил, правую он успел выхватить из кармана.

— Митя, берегись! — крикнул кто-то.

Пахан вертелся подо мной и неловко махал ножом,

никак не удавалось прижать коленом его руку. Я схватил за рукав, но он опять извернулся. Мне все же удалось стукнуть по руке и выбить нож. Володя и Агошин яростно вцепились в пахана с двух сторон.

Мгновенно Петров-Ганибесов был водворен под нары. Его корешки не успели раскрыть рты. Они так и сидели кружком на нарах с картами в руках и растерянно глядели на Володю, подступившего к ним с ножом пахана в руке. За ним стеной стояли все мы. За нами вплотную друг к другу — «жлобы».

Скрипя и лязгая деревяшками и железками, вагон мчится в неизвестное, а внутри бушует буря. Напряжение последних дней разряжается. Все кричат, вопят, машут руками, стучат по нарам.

— Всех урок под нары! Всех до одного!

— Вон их из вагона!

— Отдавайте мои вещи, сволочи!

— Бейте их, ребята, что вы смотрите!

— Ножи у них забери, Савелов!

Неожиданный взрыв гнева, свирепый вид Володи с ножом в руках, стена людей за ним вразумляют урок. Они без возражений достают из карманов самодельные ножи, осколки угля.

— Все давайте! Слышите? — железным голосом требует Володя.

— Все отдали! Смотри! — выворачивает карманы Кулаков.

Володя протискивается к окошку и с удовольствием выбрасывает «вооружение».

— Бритву хоть бы оставил, будем теперь волосатые! — проворчал Мурзин (он по утрам брил всех желающих: своих бесплатно, чужих — за полпайки).

— Митя, смотри!

Мосолов стоит рядом и держит меня за руку. Она в крови. И рукав. И пальто. Пахан не зря размахивал ножом — порезал мне руку. Я с пылу не почувял. Мосолов ловко завязывает руку полотенцем (предварительно разрывает его на полосы).

— А здесь? — спрашивает он.

И показывает на плечо. Ого, и пальто разрезано! Теперь я чувствую боль. Вот гад! Мосолов и Фетисов стягивают с меня пальто, пиджак. Рубашка в крови.

— Ребята, он весь раненый! — кричит кто-то. — Где доктор? Гамузов, помощи.

Толпа собирается около меня. Володя потрясен, губы у него дрожат. Мосолов перетягивает руку у предплечья тряпкой — остановить кровотечение. Везет же мне с этой рукой!

— Нужен нам этот доктор! — говорит Мякишев. — Обойдемся.

Доктору не до меня. Вместе с Сашком и Севастьяновым он пытается вытащить пахана из-под нар, тот не дается.

— Не хочешь, да? Не хочешь на свет божий? Ай, какой застенчивый! Иди, иди, покажись, мою тубейку надень — я полюбуюсь!

Воробьев, Агошин и Птицын штурмуют нары, где сбились в углу напуганные урки.

— Сейчас вы у меня захрустите! — обещает Воробьев и многоэтажно ругается.

Крики, вопли, галдеж все нарастают. Это уже не гнев, не возмущение, это бешенство.

— Володя, что ты стоишь? — кричу я. — Их же убьют!

Володя даже не оглядывается, он пристально следит за Мосоловым и Мякишевым; они терпеливо врачуют мои порезы.

— Володя, слышишь?

— Черт с ними, Митя. Я сам готов вытащить из-под нар и убить мерзавца. Разве это человек?

Он сжимает кулаки, лицо его темнеет. Я ищу глазами Фетисова и Зимина — чего бездействуют? Зычный сильный голос Павла Матвеевича перекрывает крики и галдеж.

— Товарищи, товарищи! Уймитесь! — Зимин полустоит на верхних нарах с поднятой рукой. — Будет вам! Агошин, Птицын, уймитесь! Воробьев! Гамузов, не стыдно? Что это вы размахались после драки? Держите себя по-людски.

НАШЕ СОБРАНИЕ

Разве знал я подлинную цену слову, разве понимал, какую власть над людьми оно может иметь? А ведь мне приходилось не раз читать стихи в притихшем зале. Сейчас я с восторгом убедился: простое слово об уважении к себе, привычное «товарищ», запрещенное в тюрьме, изменило настроение людей.

Я никак не ожидал такого. А опытный человек, Зимин, видимо, понял, что наступил тот единственный час, когда можно попытаться объединить людей — тех, кого судьба закинула в этот «вагон несчастий».

Помолчав, как бы ставя точку на главном, Зимин заговорил о том, что, по его мнению, нужно сделать для порядка в вагоне. И дальнейшее походило на обычное производственное совещание.

— Надо выбрать старосту,— сказал Фетисов и заулыбался.— Предлагаю Володю Савелова, он сегодня продемонстрировал свои деловые качества.

— Еще какие! — подхватил Петро.

— Голосуем! — предложил Зимин.

Проголосовали единодушно, даже с аплодисментами. Павел Матвеевич настойчиво попросил всех порыться в карманах: не осталось ли у кого оружия вроде кистеней или самодельных ножичков? Урки молчали.

— Разоружение должно быть полное и всеобщее,— сказал Зимин под общий хохот.— Если товарищи молчат, будем считать разоружение состоявшимся, доверие друг к другу прежде всего.

Две фамилии внятно прозвучали в вагоне: Голубев, Мурзин! Их неожиданно произнес Мосолов. Поднявшись, строго смотрел со своего места на корешей. Глубокая тишина вползла в вагон.

— А что? Мы ничего, пожалуйста,— пожал плечами Мурзин.— Для вас же самих.

Он протянул Володе самодельную бритву, Голубев — ножик.

— Выбросьте в окошко! — приказал Савелов.

Урки подчинились.

— А как с твоими кулаками, товарищ староста? — ядовито спросил Петреев.— Они пострашней консервных железок.

— Он их будет обматывать полотенцем, чтоб помягче!

— Пусть бьет одной левой, не до смерти!

Без возражений согласились и с таким демократическим правилом: те, кто занимает верхние нары, раз в три дня меняются местами с «голытьбой» — обитателями подвалов.

— А ты сам-то пойдешь на мое место, комиссар? — высунул снизу кудлатую голову Воробьев.

— Пойду, сегодня же поменяемся этажами,— за-
верил Зимин.— Если заколеблюсь, можешь стащить
вниз за ноги.

— Согласен! — проревел Воробьев.

— А Петров? Нельзя простить ему кровь Мити-
ну.— Это Мякишев вспомнил папашечку.

— Что ты предлагаешь? — спросил Фетисов.—
Оторвать его дурную башку? На первой же остано-
вке сдадим стервеца конвою. Долой из нашего вагона.

— А остальное жулье? — поинтересовался Сашко.

— Думаю, они кое-что поняли. Так ведь? — Урки
молчали, и Павел Матвеевич переспросил: — Можно
поручиться за вас?

— Можешь, — со вздохом отозвался Кулаков. Пет-
рову полагалось помалкивать, и он лежал под нара-
ми тихой мышью, а Мосолов вроде отмежевался от
своих. Кулаков оставался за старшего среди урок.

Все шло, как и полагается в приличном коллекти-
ве. Однако предложение Зимина вызвало замешатель-
ство. Он хотел соединить все деньги — и числящиеся
за конвоем, и те, что на руках, — чтобы покупать еду
в общий котел и делить поровну.

Бурное одобрение, высказанное мной и сидевшими
рядом ребятами, сменилось долгим, тяжелым молча-
нием. Идея пришлась не всем по вкусу.

— С бандюгами предлагаете делиться? — удивил-
ся Севастьянов.— Измывались над нами, и за это
кормить их?

— Не нуждаемся в твоей подачке, жлобина! —
бешено заорал Кулаков.— Подыхать буду, куска тво-
его не возьму, падло!

— Подыхай, не жалко!

— Неужели кто-нибудь может лопать хлеб и кол-
басу, когда рядом голодные?! — возмутился Фети-
сов.— По-моему, только так и можно: сложить день-
ги и ценности, чтобы еда для всех. Вот мой вклад.

Фетисов протянул Володе обручальное кольцо и
деньги. Зимин оглядел обитателей вагона, качнулся
по ходу поезда и полез в «хитрый» карман. Вынул
деньги — все видели, немалая сумма — и протянул
старосте. Но деньгами Павел Матвеевич не ограни-
чился, отдал и часы, приложив их к уху на прощание.

— Подарок. Поберегли бы, — пожалел Володя. —
Память.

Пример «комиссаров» подействовал. Мякишев молча выложил смятые комочком деньги; Петро не пожалел медальончика на цепочке и сконфуженно развел руками, извиняясь за безденежье; Агошин передал всю наличность свою и Птицына; Фролов смущенно протянул скромный вклад от «язычников»; я заявил: деньги мои у конвоя — кладу в кассу; Мосолов отдал довольно-таки пухлую пачечку.

Пошли в ход тайные узелки, зашуршали деньжата. Примостившись на верхних нарах, Володя составлял список — фамилия, сколько и чего внесено. Для всеобщего обозрения деньги и вещи лежали рядом.

— Доктор, давай, у нас будут, как в сберкассе,— прохрипел Мякишев.— Или жадность не позволяет?

— Свою золотую тубетейку сдай, на хрен она тебе! — посоветовал Ващенко.

— Тубетейка — дорогой подарок, но для общего дела я согласен. Пусть урки отдадут обратно. Скажи им, Володя.

Гамузов так горячо отозвался на подначку, что вагон покатился со смеху. И совсем стало весело, когда неизвестно откуда на колени Володи упала тубетейка. Доктор моментально сцапал ее.

— Чур, клади! — потребовал Мякишев.— Все слышали твоё слово, не отвертись.

— Я и не верчусь. Посмотреть-то можно? Жалко тебе, да? На, возьми, пожалуйста! — И Гамузов, обиженный, полез на свое место.

Теперь предстояло объяснить с конвоем, предьявить ему Петрова, доказать справедливость нашего «переворота», добиться льгот, обязательно добиться, иначе все завоевания пойдут прахом. Удастся ли?

На первой же остановке Зимин обратился к часовому с просьбой позвать начальника. После долгого ожидания тяжелая вагонная дверь со скрежетом отъехала в сторону и, не входя в вагон, начкон спросил:

— Что у вас ко мне? Опять натворили что-нибудь?

Зимин, вместе с Фетисовым и Володей стоявший впереди, спокойно рассказал о событиях и от имени вагона попросил убрать Петрова. Ранил человека, терроризировал всех, пришлось обезоружить. Сейчас прячется под нарами.

Едва Павел Матвеевич назвал Петрова, как пахан

с воем выскочил на свет божий. Перемазанный, с синяком во всю щеку (Володина затрещина!), с торчащими из-под шапки космами, он был жалок и смешон. Оттолкнув Фетисова и Зимина так, что они едва не упали, пахан вывалился в дверной проем.

Бойцы защелкали затворами, начком успел посторониться, и Петров кулем брякнулся на серо-черную оледенелую землю.

Явление Петрова было настолько неожиданным, что вагон замер, а затем загрохотал. Ко всеобщему хохоту присоединились начкон и бойцы, один из них схватил Петрова за воротник.

— Хорош, ну прямо красавец! — покачал головой начкон. — Придется перевести в вагон первого класса, не годится такому ехать в общей теплушке. Вагон должен быть по шапке, ничего не поделаешь. Правда, там нет печки и холодновато, но в такой шубе хоть на Северный полюс.

Начкон кивнул бойцу, и тот повел пахана прочь. Начальник с интересом смотрел на Зимина, Савелова и Фетисова.

— А кто пострадавший? — осведомился он.

Меня вытолкнули вперед, и я очутился рядом с Володей.

— Промыслов? — узнал начкон и нахмурился. — Он руку тебе порезал?

— Надо йода и бинт! — крикнул доктор. — Не загноилась бы рана.

Начкон еще раз глянул на меня и кивнул бойцу: закрывай.

— У нас не все, — быстро сказал Зимин, а Володя придержал ногой створку. — Всем коллективом просим вас зайти в вагон и выслушать.

— Здравствуйте-пожалуйста. Вам положено помалкивать, а из вас просьбы как из мешка сыплются.

— Отойдите от двери, дайте закрыть! — крикнул боец.

Начкон покачал головой: не надо. Видно, не так-то легко было отказать нашему уполномоченному. Начальник ловко вскочил в вагон. За ним поднялись бойцы, дверь задвинулась.

— Слушаю. Но имейте в виду: наказание за оскорбление часового и за круговую поруку при побеге не снято.

Зимин, словно не слыша, рассказал о нашем собрании.

— Собрания не разрешаются,— выдохнул клуб дыма начкон.

— Не будем называть это собранием. Просто мы посоветовались, как быть. Вы сами видели Петрова. А нам нужно приехать на место людьми.

Зимин помолчал. Заинтересованный начкон не перебивал его.

— Мы собрали в общую кассу деньги и ценные вещи. И те, которые на руках, и которые у вас на хранении.

— Зачем? — вопрос прозвучал строго.

— Просим разрешения покупать продукты. Все ослабели, кое-кто не может двигаться.

— Льготы не могу разрешить. Деньги и вещи сдадите на хранение, их не полагалось держать при себе. Опять нарушение. Вы что, забыли, вижу, свои грехи! За них придется ответить, когда прибудем.

Начкон повернулся к выходу. Дверь отъехала в сторону. Эх, все пропало!

— Очень просим помочь нам. В лагере нужны работники, а не инвалиды,— с отчаянием возразил Зимин.

— Нет, нет! Сами виноваты.

— Посмотрите, до чего мы дошли,— простонал Ващенко. Он растолкал всех и подошел ближе.

Начкон обернулся. Петро сунул грязные пальцы в рот и почти без усилий вытащил огромный желтый зуб.

— Могу подарить на память всю челюсть,— и Петро протянул зуб начальнику.— Не доедем до лагеря. Выгрузили бы здесь, зачем тащить дальше полудохлых доходяг.

Не сразу справившись с растерянностью, начальник конвоя сказал:

— Достанем хвойный настой, будете пить. Продукты придется покупать. Завтра большая станция, возьмем вашего старосту в магазин — пусть купит хлеба, сахару, капусты квашеной, огурцов и что еще там найдется.

Начкон не сводил глаза с Петра. Иссиня-бледный, без кровинки в лице, он моргал, шурился и вдруг улыбнулся.

— Так и решим!— словно обрадовавшись этой улыбке, воскликнул начкон.— Есть еще просьбы?

— Больше нет, спасибо.

СНОВА СПОРЫ

Жизнь стала приличной (если можно так сказать про тюремную жизнь). У нас появился горчайший хвойный настой, а главное — улучшился паек.

Я совру, если стану утверждать, будто в нашем вагоне воцарились тишь да гладь. Может быть, так было в самый первый день. Очень скоро начались опять споры. Гремел ожесточенный голос вечно взъерошенного Воробьева, благолепный Севастьянова и брюзжание желтолицего Дорофеева (кстати, после «переселения народов» бывшие кулаки и бывший прокурор очутились наверху рядом; Дорофеева по болезни решили не спускать в подвал).

— Молчали бы о достоинстве,— ворчал, поглядывая на Зими́на, Дорофеев.— К чему сии красивые бесполезные слова? Много оно помогло вам, ваше достоинство? Упрятали в каталажку вместе с жуликами!

— Не платят ли тебе, тюремный комиссар, за то, что ты и в тюрьме тычешь людей мордами в лозунги? — зло вопрошал Воробьев, свесив с нар кудлатую голову.— Помог уговорить жуликов, сумел конвой уговорить — земной поклон тебе. Желудку полегче. А душу не тронь, не бери!

— Ты покажи мне лапу, которую надо лизать, чтобы она выпустила меня из тюрьмы. Я оближу ее и не поморщусь! С достоинством оближу! — елейным голоском, блестя глазами, верещал Севастьянов.— Господи, прости нас, неразумных.

— Вас не трогают, какого черта кидаетесь?! — возмутился я.— Лежали бы и помалкивали.

В самом деле Зими́н потихоньку беседовал со мной, Фроловым и Феофановым. Рассказывал о Морозове, просидевшем в Шлиссельбургской крепости больше двадцати лет. Я читал о нем, а ребята впервые услышали имя знаменитого революционера и ученого. Зими́н восхищался силой его воли, целеустремленностью.

— Пускай, Митя,— отозвался на мое возмущение

Павел Матвеевич.— Пусть хоть таким способом выпускают пары злости.

— Говоришь: вас не трогают,— возразил Воробьев, косясь на меня.— Бормочет он вам, а слова к нам идут. Покоя нет от этого очкастого дьявола!

Зимин рассмеялся и невозмутимо вернулся к нашей беседе.

— Ты спросил, Митя, в чем может быть наша самая большая беда? По-моему, в неспособности обуздать себя. Случилось несчастье, и человека это надолго ослепило. Мы с тобой видим: кое-кто из наших спутников нашел чуть ли не отраду в ругани и проклятиях. А правда в том, чтоб извлечь смысл и из этого жизненного урока.

— Уж не обо мне ли гудишь? — осклабился Воробьев.

— Вполне возможно! — блеснул глазами Зимин.

— Ах, комиссар, комиссар, — Воробьев приподнял голову.— Смотрю я на тебя, человек вроде неплохой. И не молодой, многое повидал. А ведь глупый, ничего не соображаешь.

— Ну, ты без оскорблений! — предостерег Фетисов, мгновенно слезая с нар.

— Не мешай, Саша, — взял его за руку Зимин.— Интересно послушать.

— Послушай, послушай, коди интересно. Сейчас Митя и все эти ребятишки свеженькие, еще не очухались, не устали от твоих наставлений. Зато через год или через два, через три года, когда обзлятся на все, потеряют веру и пошлют тебя и твои лозунги к чертям собачьим, чему тогда станешь их учить?

— В год, два, три я не верю — все скорее разъяснится, — возразил Зимин.— Но предположим по-вашему. И через год, два и через три года, и дальше я буду учить их сохранять достоинство, не ожесточаться и не терять веры в наше дело. Повторяю, я убежден — беда Мити, беда многих из нас не может быть долгой. Тучи рассеются.

— Блажен, кто верует, — почти со стоном протянул Севастьянов.

Он умел этак закончить спор. Даже здесь, в этапе, где, по выражению Зимина, люди ничего не скрывали и ничего не опасались, даже здесь Севастьянов был уклончив и осторожен.

— Петро, спой,— просит Фетисов.

Петро не сразу начинает, ему трудно петь: губы в сухих болячках, такие же болячки на всем нёбе. Он едва справляется с голосом, песня вот-вот прервется. Репертуар, как говорит Ващенко, «подходящий»: «Солнце всходит и заходит», «Отворите мне темницу».

Мы с Зиминим сидим рядом, он держит руку на моем плече, изредка крепко его сжимает. Снимает очки и приближает свое лицо к моему; так он делает всегда, если ему надо хорошенько увидеть. Глаза у него удивительные — глубокие, добрые.

— Митя, я охотно дал бы вам рекомендацию в партию.

Это неожиданно, и я не знаю, что сказать в ответ.

— Считайте, что дал уже. Выйдем отсюда — а мы обязательно выйдем на волю,— приходите и берите рекомендацию.— Он улыбнулся.— Словом, она у вас в кармане.

— Спасибо,— говорю я. Мое спасибо — не пустое слово. Мне (и не только мне) было бы трудно без этого человека. А ведь его жжет свое горе, он тоже оставил дом и семью (я знаю, у него взрослые сыновья, дочь и даже внук).

Зимин не сводит с меня глаз, улыбается.

— Вы думаете: что он болтает? Не ко времени и не к месту. Так?

Я пожал плечами.

— Дорогой мой, поймите. Мы же не перестали быть коммунистами ни на одну минуту. Ни от чего не хотим отказываться. И ничего не хотим откладывать.

Петро негромко поет, голос его вибрирует. Грустная мелодия не мешает нашей беседе.

— Что скажете, Митя? Чего нахмурились?

— Тревожно, Павел Матвеевич. Вот вы сидели в царской тюрьме, отбывали каторгу. Как бы я хотел тоже пострадать за революцию! Вытерпел бы любые пытки, мог бы без колебаний умереть, если надо. Это прекрасно: бороться и умереть за убеждения, за идеалы.

Лицо Зимина темнеет, он быстро надевает очки. Все-таки я успеваю заметить, как тускнеют его глаза. Сейчас, три десятка лет спустя, ругаю себя: все

мы, друзья и недруги, терзали его. Как тяжело было ему слушать речи вроде моей! Они ранили куда больше, чем проклятия Воробьева.

— Не поддавайтесь настроению, Митя,— после паузы говорит Зимин.— Вот что я хочу сказать: вам всегда будет трудно. Вам всегда выпадет самое трудное. Знаете почему?

— Почему?

— Потому что вы из тех, кто отвечает и за себя, и за других.

— Вы о себе говорите.

— Если хотите, мы с вами одной породы.

— Знаете, Павел Матвеевич, по ночам я часто думаю о вас, о себе, о всех нас. И даю себе клятву. Если останусь жив, буду всегда бороться с клеветой, со злобой, с завистью. Всеми силами буду бороться с несправедливостью. Смешная клятва, правда?

— Прекрасная клятва, Митя! Клятва борца. Сейчас нам трудно. И вам, Митя, и мне. Многим. Силу дает сознание, что мы остаемся собой. И, когда рассеется этот мрак и все станет на место, мы узнаем, кто придумал эту низкую игру с вами, с Володей, со мной, с другими. Кто придумал спекуляцию на идейности, на бдительности, на святых наших чувствах. Я здесь увидел то, чего не видел на воле: кто-то насаждает подозрительность и вражду между своими. Верьте, Митя, мы вернемся в строй с сознанием, что не погрешили против совести, против партийной, комсомольской, простой человеческой совести.

Наша беседа прерывается аплодисментами. У Петра окончательно иссяк голос. Вагон вызывает меня. Поднимаюсь, стою в растерянности, не могу собрать мысли. Тихий голос Зимина:

— Товарищи ждут, Митя. Хорошо бы повеселее.

Стою столбом, не могу вспомнить стихи повеселее. Меня торопят, кто-то свистит, кто-то хлопает, кто-то подсказывает:

— Давай Есенина: «Голубая кофта, синие глаза».

— «Я земной шар чуть не весь обошел».

Хорошо бы повеселее. И я начинаю. Изображаю разоружающихся урок и Петрова под нарами, изображаю Севастьянова: «Спасибо тебе, господи, ты услышал мои молитвы и наказал жуликов». Вагон развеселился. «Митя, давай!» И я «даю» Мякишева с

Гамузовым, их беседу о золотой тубетейке. Вагон хохочет, не исключая самого Мякишева.

— Вот чертушка! Похоже, факт,— признается он.

— Похоже, да? — возмущается Гамузов. — Ты похож, а я совсем не похож! Тьфу на твой спектакль, Митя! Лучше давай стихи.

Вагон смеется, требует:

— Митя, давай!

Володя с утра был очень веселый, все приставал ко мне, подтрунивал и острил. Затем многозначительно объявил:

— Сегодня у нас сход. Зимин тебя приглашает, чувствуешь? Становишься, малец, человеком.

В эти дни я много думал о беседе с Зиминным, о его словах: «Охотно дал бы рекомендацию...» Значит, коммунисты вагона доверяют мне, как равному. А вдруг меня вполне конкретно приобщат к действиям их группы?

Сход устроили на верхних нарах в нашем углу. Володя сказал Епишину и Гамузову: «Погуляйте, ребята, надо поговорить», — потом помог забраться на верхотуру старшим — Зимину, Фетисову и Мякишеву; с помощью Агошина втащил Дорофеева; уселся сам и пригласил устраиваться нас, новеньких — Петра Ващенко, Фролова, Мишу Птицына и меня. Стоя на коленях, Зимин открыл собрание...

Разговор тогда шел о многом, но мне особо запомнилось то, как Зимин упрекнул Мякишева в неправильном отношении к Гамузову.

— Целоваться мне, что ли, с сыночком эмирским? — удивился бородач.

— Целоваться не обязательно. Гамузов — человек весьма своеобразный, скажем прямо. Но блатные и «жлобы» травят его не только за жадность и индивидуализм. Высмеивают за то, что он из Средней Азии. Называют по-всякому. Но, во-первых, он русский. Во-вторых, чем плохо, если человек другой национальности? К моему удивлению и огорчению, вы, Мякишев, тоже вчера напоролли черт знает что.

— Очень он несуразный, доктор-то, — пробормотал смущенный Мякишев.

— Несуразный, верно, не об этом речь. Когда вы

смеетесь над его байскими замашками и скупердяйством, никто вас не упрекает. Зато когда вы присоединяетесь к «жлобам», к их нападкам, я протестую и говорю вам: стоп! Коммунист обязан пресекать такие вещи сразу. Вы и меня мимоходом высмеяли, когда я стал рассказывать, как дехкане помогали Красной Армии бороться с баями. Я опять клоню к одному: у нас должна быть сплоченность, особенно в принципиальных вопросах.

Фетисов поддержал комиссара и напал на Дорофеева. У того, мол, непартийные настроения, он заодно с Воробьевым. На воле его просто бы исключили из партии.

Прокурор в обычной своей манере едко заметил: смешно говорить о возможном исключении бывшему члену партии.

— Надо ли понимать, что вы смирились с положением человека вне партии, вам уже все равно? — прямо спросил Зимин после недолгого молчания.

Дорофеев вдруг заплакал. Он ничего не мог поделать с собой, плечи у него дрожали, слезы текли и текли, он размазывал их грязными руками по всему лицу. Растерявшиеся, мы сидели и не знали, как быть. Худо, когда мужчина так плачет.

— У меня больше нет сил,— простонал он.

— Коли нет сил, не кидался бы,— сердито сказал Фетисов.

— Вы дубина, вы ничего не понимаете, не вам обо мне судить! — взорвался опять Дорофеев.

— Почему я должен терпеть его заскоки? — Фетисов сплюнул в сердцах и отвернулся.

Павел Матвеевич попросил Фетисова не разжигать конфликт, быть снисходительным к больному товарищу.

— Поручите мне объясниться с Дорофеевым. Понимаете, товарищи, нас мало, слишком мало, чтобы так ссориться. Надо быть едиными, только тогда сумеем что-то путное сделать. Разве случай с укрощением урок нас в этом не убедил?

Не все участники этого памятного мне схода вернулись домой. Тех, кто уцелел, не скоро — ох, как не скоро! — освободили из лагеря, из пут гражданских ограждений, обязательных, как потом выяснилось, для бывших заключенных.

На воле мне удалось найти Петра Ващенко, Агошина и Фролова. (С Володей, ты знаешь, наша дружба не обрывается даже на день.) Фетисов сам разыскал меня, когда вышел на свободу. Мякишев после освобождения недолго пожил (конечно, в Москву ему не удалось вернуться).

— А Зимин?

— Зимин и Дорофеев сгинули в тайниках 1937 года.

Каждому из нас после лагеря пришлось начать жить сначала, заново родиться. Новый паспорт, новый профсоюзный билет. Трудовой стаж и трудовая книжка — с самого начала. Жаль, метрики не обновили — неплохо бы и счет годов завести новый.

Спустя много времени Володя Савелов и Агошин снова вступили в партию. Миша Птицын вернулся на завод и со временем стал членом партии. Фетисов добился реабилитации. Фролов, Петро и я поныне беспартийные. Приобщив нас к думам и действиям маленькой группки коммунистов, Зимин хотел сделать нас, молодых, целеустремленнее и сильнее. Мне думается, он своего добился — спасибо ему. Никто из нас потом не подвел его.

Так уж вышло у меня в жизни, что я не вступил в партию, в мою партию, которой я предан с малых лет, с первых политических уроков отца.

Ты ведь знаешь, многие удивляются, узнав, что я беспартийный. На вопросы «почему» отвечаю правду: мол, поздно. Разве вступают в партию в мои годы? А раньше не получилось. Не будешь же рассказывать каждому длинную одиссею.

Но об одной попытке я хочу рассказать тебе. Это было в 1952 году, незадолго до нашего с тобой знакомства. Мне тогда показалось, что все передо мной открылось. Видно, возвращение в Москву вскружило голову. Одним словом, решился. В заявлении, автобиографии и анкетах ничего не утаил. Товарищи порадовали меня хорошими рекомендациями. Я подал документы и стал ждать. Надо ли говорить о моем волнении?

Однажды в поздний вечерний час пришел мой школьный и заводской друг Боря Ларичев (он же один из рекомендующих):

— Я пришел тебя предупредить.

— Догадываюсь, Боря. Лучше молчи.

— Нет, слушай. Нашлись люди, пожелавшие испортить твой праздник. Потрясают анкетами и автобиографией, возмущаются: «Как он посмел? У него пятно!» Словом, меня приглашали для внушения.

— Понял. Я верну рекомендацию.

— Рекомендацию я не взял у них и у тебя не возьму. Буду всюду ее отстаивать, говорить правду. Я знаю тебя с детства — ты коммунист всю жизнь.

— Спасибо. Ты друг...

— Спасибо ни к чему. Я пришел объяснить: предстоит борьба. Время трудное, снова накатила волна подозрительности и недоверия. Демагоги и ловкачи торопятся нажить свой несправедливый капитал.

— Все ясно. Завтра заберу документы.

— А я убежден: надо бороться. Ты не один, слышишь? Вот моя рука, я буду рядом. Давай бороться, Митя.

Я не смог бороться. С кем? Мой праздник мог обернуться трауром. Да, трауром. Если б случилась неудача, она была бы последней, я бы не смог жить дальше. Решил про себя: новых попыток делать не буду, останусь беспартийным до конца дней. Мой закадычный друг сказал: ты коммунист всю жизнь. Вот и буду всю жизнь коммунистом без партбилета.

ПОЖАЛЕЙ СЕБЯ, ИГОРЬ!

Наш староста и мой друг Володя Савелов приложил свою тяжелую руку сразу к двум обитателям вагона. У пострадавших были и синяки, и шишки, и разбитый нос. Не было только жалоб, оба «приняли» плюхи без возражений. Не зная причин гнева старосты, удивленный Зимин взялся его урезонивать. Володя почему-то отмолчался и, темнее тучи, забрался на свое место.

Я растянулся рядом, дипломатически не начинал разговора. Опять разбередил еще незажившую руку, она заныла.

— Дураки,— наугад сказал я, поглаживая плечо.

— Уроды,— сердито поправил меня Володя. Всегда спокойный, он весь кипел.— Убью, если еще раз поймаю!

Свою угрозу он произнес достаточно громко. Из его реплик, выжатых сквозь зубы, я узнал: наш староста накрыл урок Костина и Мурзина за кражей продуктов из общественного пайка.

— Почему не объяснил Зимину? Он думал, что ты просто подрался. И огорчился.

— Противно! Ведь мы их кормим, сволочей!

Меня поступок блатных тоже вывел из себя, я готов был добавить им свою порцию лещей. Мы так костили и ругали стервецов, что проработка вскоре сделалась общей.

— Вот слышите, Володя, вопрос-то общественный, всех нас задевает,— с укоризной сказал Зимин.— Кулаками его не решишь.

— Чем же его еще решать? — удивился Володя.— Бить их надо до смерти! Единственное решение.

— Братики, ведь они же не люди. Володя прав! — поддержал старосту кроткий Вашенко.

— Жрать им не давать. Ослабнут и забудут про воровство!

Предложение Мякишева вагон встретил с удовлетворением, гоготом и солеными шутками. Зимин же и тут навел порядок. Морщась, он стыдил за похабщину, уговаривал:

— Бить не станем. Хлеб отнять не можем. А наблюдение крепкое установим. Будем лечить стыдом.

Как и всегда, с Зиминим невозможно было не согласиться. Один Савелов не согласился:

— Лечите их своим благородством, а я буду нещадно лупить. Таких уродов одна могила вылечит.

— Верно балакаешь, староста, мы с тобой согласны: фраерами и сязками нас не сделаешь.

Заявление Кулакова вызвало взрыв одобрения.

— Тихо, вы! — зычно крикнул вдруг Мосолов, покрывая все голоса.— Молчали бы уж лучше и слушали, что о вас говорят люди.

— Слушай сам, если нравится,— огрызнулся Кулаков.

Однако он притих. Примолкли и остальные.

— Не кажется ли вам, Володя, что Игорь Мосолов перестал быть воровом?— этот вопрос Зимин задал негромко, не для всего вагона, но так, чтоб услышал Мосолов.

— Ну да, перестал! — непримиримо отрезал Воло-

дя.— Значит, нужно зачем-то ему до поры до времени.

— Ой, Володя! Вы меня огорчаете. По-вашему, получается: люди рождаются ворами, ворами и умирают?

— Так оно и есть!— жестко бросил Володя, считая дальнейший разговор излишним.

Зимин его понял и тоже замолчал, внимательно глядя на Мосолова. Тот стоял возле наших нар, покачиваясь от толчков вагона, безучастный, словно не о нем шла речь.

— Слушайте, Игорь, расскажите нам о себе,— попросил Павел Матвеевич.

Мосолов по-прежнему покачивался, держась за нары и будто прислушиваясь к чему-то.

— Игорь, я к вам обращаюсь.

— Слышу,— сказал Мосолов.— Зачем говорить, для забавы?

— Нет, совсем не для забавы. Мы часто судим о человеке, не зная его.

— Что изменится?— Игорь с горечью отвернулся. Резко, в упор взглянул на Савелова.— Эх, ты, правильный человек! А говорят, сам беспризорничал, детдом прошел.

Нам стало неловко. Я рассердился на друга, даже толкнул его в бок.

— Вам я скажу, комиссар.— Мосолов снова слегка качнулся.— Если бы побег Бакина случился раньше, я бы не упустил случай — рвал бы вместе с ним когти. Вы, наверное, догадались, что я помог удрать ему и Редько, удержать их было невозможно. И, если бы Петров раньше затеял правилку, я, наверное, не стал бы ему мешать.

— Расскажите: почему не бежали с Бакиным, что вас остановило? Почему не пошли за Петровым?

— Что говорить? Ясно почему. Поумнел. Встретил людей, поверил в них. Показалось: жизнь еще может повернуться лицом. Не знаю, может быть, зря.

Мы ждали, что еще скажет Мосолов. Но он опять погрузился в раздумье.

— Вы слышали, Савелов?— спросил Зимин.

Володя не отозвался.

Мягкий и деликатный человек, Зимин отличался удивительным упорством, уж коли что взбрело в его

седую голову. Разумеется, он не оставил в покое Мосолова.

Игорь, он же Стась, рассказывает нам историю своей жизни, Володя слушает. То есть слушает вся наша компания. Игорь чаще всего обращается к Зиминому, однако, мне кажется, видит он, главным образом, Володю.

— ...Я, как все воры, наверно, мальчиком был честным, ей-богу. И даже счастливым до восьми лет: имел мать, отца и трех сестренок. Потом счастье сдуло ветром. Мать и сестренки умерли от тифа, я выкарабкался, на свою беду. Отец после смерти матери словно надломился, приходил домой пьяный, а однажды не пришел совсем. Я на улицу подался, в беспризорные, затем в детдом, куда же еще?

Кому так повезет, как нашему старосте: из детдома он, пай-мальчик, доучился до фабзауча, а там и высшее образование на блюдечке с голубой каемкой. Моя кривая потащила не туда. Ребята драпанули из детдома, прихватили заодно и меня. Могу целую неделю калякать про свои мытарства, как жил в подвалах и подъездах, в асфальтовых котлах и товарных вагонах, как дрожал от холода, чесался от вшей и грязи. Про то слушать не больно интересно, правда, староста?

Научился всему, прошел школу первой ступени, а за ней вторая ступень. Ох, наука ты воровская, будь проклята! Пахан потихоньку вклевывается в твою душу, ты и не замечаешь, как превратился в раба. Всегда в страхе, всегда помнишь законы ватажки, постоянно твердят тебе о воровском братстве, о воровской чести, о самом страшном законе — о правилке.

Работа самая ребячья, пустяковая — проскользнешь змейкой в открытую форточку и впустишь через дверь старших подельцев, дальше забота не твоя. Или подсадят тебя и ты через узкую щель в окне ныряешь в купе вагона. Твоя задача выкинуть хотя бы один чемоданчик. По специальности и прозвище: Угорь.

После нескольких удач я в ватаге уже человек. Житуха на большой: день воруешь, неделю праздник. Жратва буржуйская, папиросы в красных коробках, водки сколько хочешь (первый стаканчик силком влили в глотку, а потом принуждать не пришлось). Пос-

ле выпивки весело, поешь «гоп со смыком», травишь анекдоты, ни о чем не думаешь — есть умные люди, которые думают за тебя и говорят, что делать.

К одному долго не мог привыкнуть — «шпилить в госиздат». Противно было очень. Корежило от вида людей, от того, как тряслись их руки в проигрыше, да и в фарте, как они зверели. Страшно было смотреть на корешей, когда они своего же товарища раздевали догола и унижали.

В какой-то форточке я застрял — ни туда, ни сюда. Упекли голубчики в колонию. Тосковал по корешам, все соббразал, как бы удрать, ведь, кроме корешей, не было никого на свете.

Староста наш, глядите, ухмыляется. Догадываюсь, о чем думает: сколько волка ни корми...

Не получилось удрать, не фартило. Спустия какое-то время чувствую: бежать не хочется. Зачем? Кормят, заботятся, научили не пыльному ремеслу — переплетать книги. Через это вот и узнал удивительное занятие — читать. Книги читал запоем, одной на вечер не хватало.

Вот так-то бывает, гражданин староста. Забыл и думать о побеге, о корешах, вроде завязал ту старую жизнь. Однако появился в колонии один из наставников — Семенов, по прозвищу Лошадка (морда у него длинная, похожа на лошадиную). Я его стараюсь не замечать, а он мне напомнил: «Смотри, Угорь, не вздумай скурвиться, перышки у нас острые, сам знаешь».

Бежали компанией, Лошадка сразу всех ввел в ватагу. Работали чисто, научно и широко — в трамваях, в поездах, на вокзалах, на базарах. Домушничали, конечно.

О чем еще рассказать? Из воришки вырос, сделался вором, авторитет занял, даже операции разрабатывал, словом, коноводил. Клички сам себе придумывал: Жан Вальжан, Вотрен — из книг. Правда, прилипла кличка, не мной придуманная: Стась Ласточкин. Не помню уж, кто и почему прилепил.

Жизнь вора, комиссар, чистое кино, сплошное мелькание: судимость — колония — побег — немного воли, опять судимость — словом, тюряга — побег — глоток воли. И опять крутится твое колесо. Сам по-

дошел к черте, дальше рецидивисту вышка. Вот так очутился на канале, припух — и надолго.

— Почему надолго?— спросил Фетисов.

— Э, разве расскажешь! Надоест слушать.

— Вот чудак! Начал, так продолжай.

— Перевоспитался на стройке, так?

— Нет, не так! — Мосолов засмеялся. — Наоборот, в штрафники угодил сразу и всерьез.

— За что?

— За отказ от работы. Перед корешами выламывался, гордого сокола в неволе изображал. Думал об одном: о побеге. И понимал: бежать нельзя, поймают, дадут вышку. Кипел ненавистью, озорничал, ну и, конечно, командовал, как хотел, своими.

...Игорь, светлея лицом, рассказывает о человеке — такого он раньше не встречал. На Павла Матвеевича похож. Не лицом, а вот тем, что за людей болеет.

— Сам пришел к нам в барак. Представился: Григорий Иванович, начальник КВО. А нам на кой? Хамили ему, выпендривались всей честной компанией.

— Не старайся, начальникек, не уговоришь. Работать на тебя не будем. Иди к...— это мы ему.

— На меня работать? А я что, капиталист, что ли? Вы на себя работайте.

— Ишь чего захотел! Дураков ищи, мы умные.

— Ума-то не видно. Бойтесь вы работы. Привыкли жить на чужой счет.

— Боймся? Не смей нас. Мы просто презираем ее. Работают ишаки. Нам она зачем, твоя работа? Полезного не желаем делать людям. Они-то нам что хорошего сделали?

Он ушел, предупредил: даю три дня. Жулики посмеялись — хватит и двух. Сели играть в карты на золотые часы начальника (приметили во время беседы). Выпало мне проиграть часы.

— Начал я охотиться за ним, как тень, бродил по всей зоне,— вспоминал Мосолов.— Но часики никак не удавалось помыть. Больше того, мой клиент засек меня, как пацана неопытного.

— Что слоняешься за мной целый день? Одумался?

— Что ты, начальник, об этом и не мысли. Часы

я твои проиграл, понимаешь? Дал бы ты их мне. Все равно возьму.

Дал он Игорю не часы, а десять суток изолятора. Отсидел, вернулся в зону. Кореша напомнили о проигрыше. Этого и не требовалось, сам хорошо знал законы. Да и обидно: как же это я, Стась Ласточкин, не могу управиться с такой мелочью?

К ночи Мосолов сумел выбраться из зоны, долго наблюдал за домиком начальника лагпункта (там жил и Григорий Иванович). Свет в окнах погас, Игорь выждал час-другой и полез в окно. Часы лежали на стуле возле дивана, где спал начальник. Взял их и обратным ходом — в окно.

Не тут-то было! Зажегся свет, начальник, лежа, глядит на меня. Оказывается, наблюдал все, как на сцене.

— Был бы на моем месте другой человек, разматалась бы сейчас твоя катушка до конца, — сказал Григорий Иванович. — Дешево же ценишь свою жизнь.

— Знаешь ведь, начальник, наши законы. Со дна океана, а обязан достать твои часики. Однако не пофартило. На, бери их и обратно сажай в изолятор. Надолго сажай, иначе опять что-нибудь случится с твоими ходиками.

— Ах, дурак, дурак, — вздохнул Григорий Иванович. Подошел ко мне и огорошил: — Ладно, бери часы. Именные они, Дзержинского подарок. Но помочь тебе надо — оторвут дурную твою башку.

Я прямо обалдел, не знаю: брать, не брать. Он настаивает: раз даю — бери. Взял я и полез в окно.

— Иди уж через дверь, — засмеялся он.

— ...Ну, а что дальше? — перебил Фетисов паузу. — Что сделали твои дружки с подарком Дзержинского?

— Не дал я им часы. Только показал. Расплатился натурой. Драка была что надо, запомнил на всю жизнь.

— А часы?

— Часы вернул хозяину. Он оглядел меня и аж присвистнул: картина разноцветная, а не человек. Здорово разрисовали!

Долго отчитывал он меня, и я не огрызался, чувствовал, жалеет.

Постояли мы с ним так полчаса, он мне душу разворотил. Словно по щекам нахлестал. И первый

раз случилось со мной — дать сдачи не захотелось.

— Иди в изолятор, заслужил. Две недели один посидишь, подумаешь. Имей в виду, спуску не будет ни тебе, ни твоим приятелям.

Привели меня в ту же камеру, в которой недавно сидел. Ничего в ней не переменилось: окошко с решеткой, железная дверь с глазком — привычная обстановка. Но до того мне вдруг тесно, тоскливо стало. Зубами заскрипел, кулаками ободранными по стене принялся лупить. И никуда больше не мог смотреть — только в окошко, только на волю, на небо, хотя и в мелкую клетку.

«Пожалей себя, Игорь, пожалей себя, пожалей, пожалей! — твердил я слова Григория Ивановича. — Река перед тобой широкая. Прыгай в чистую воду и плыви, смело плыви к другому берегу».

Он выкрикнул, вернее, выдохнул эти слова. Рванулся и застыл у двери, держась за обледенелые рейки обеими руками. Рывком же нырнул на нижние нары, на свое место.

— Я рад, что тогда поверил Игорю. Чутье не обмануло меня. — Зимин говорил тихо и взволнованно. — Он тянется к нам, к вам тянется — где же она, ваша сильная надежная рука?

— Игорь, мы ждем рассказа, как один молодой человек приплыл к другому берегу, — напомнил Зимин на другой день.

— Приплыл, да не высадился, — возразил Мосолов.

Рассказывать ему не хотелось, видно, пропало настроение. Мы сидели впритирку, согревая друг друга. Мосолов теперь постоянно примыкал к нашей компании. Он молчал, глядя в серый прямоугольничек окошка. Молчали и мы, ждали.

...Григорий Иванович перевел его в другой лагпункт, подальше от корешей. Игорь получил квалификацию бетонщика, и его послали на строительство моста.

Мосолов, смеясь, рассказывал про корреспондента, который о нем написал заметку: «Росли устои моста и росли устои рабочего человека в душе бывшего урки». На тех же самых устоях моста Игорь позна-

комился с Шурой. Как и он, девушка была дитя тюрьмы и колоний.

— Про любовь в лагере невозможно рассказывать, не сказка. Если и сберегли мы свою любовь, то благодаря Григорию Ивановичу. Без него я сто раз убил бы охрану, сто раз погиб бы сам. Унижали они меня с Шурой как хотели, все мерещились им нарушения режима в наших минутных свиданиях у вахты.

Григорий Иванович поверил молодой паре, вызволял их из неприятностей и не уставал повторять: «Берегите себя, вам нельзя ошибиться». Игоря и Шуру одновременно освободили. Они тихонько отпраздновали свадьбу. Гость у них был один-единственный — друг и приемный отец. Вместе с ним в новом качестве — вольнонаемных поехали на строительство канала Москва — Волга.

— Во сне виделась мне каждую ночь форточки, в которые я лез, или погони да кореша. Тем приятнее было просыпаться. Вот так однажды выбрался я из тяжелого сна и вижу: боже ж мой, полная вокруг тишина, рядом спит Шура, за ширмой посапывает Пуха. И я возликовал: человек я, черт возьми!

Не утерпел, разбудил Шуру, поделился своими мыслями, говорю: хочу сына! Нельзя нам без него! Шура смеется — совпадение. Я тоже хочу сына, вижу его во сне.

Игорь загнулся смущенно, украдкой посмотрел на Володю. Тот деликатно отвел взгляд:

— Ты сказал: за ширмой посапывает Пуха, — пришел на помощь Игорю Фетисов. — Собаку, что ли, завел?

Мосолов долго смеялся, прежде чем ответить.

— Ничего я не имел, а тут все появилось: свобода, работа, жена, жилье (целый домик снимали в деревне), Пуха. Кто такая? Мать наша. Еще в лагере она к нам прилепилась. Одинокaя пожилая женщина Пульхерия Ивановна, или Пуха. Всю жизнь жила в людях, потихоньку спекулировала. За спекуляцию и посадили. В лагере послали в пошивочную. Работа ей нравилась, всех белошвеек обгоняла. Она тоже мечтала о сыне, согласна была на внука или внучку. Словом, хотелось ей пожить остаток дней в семье. Со слезами рассказывала, какие бы она готовила борщи и голубцы, какие шила бы рубашки сыну и платья

дочери, как нянчила бы внучка или внучку. Мы с Шу-рой все смеялись: вот выйдем из лагеря, заведем семью и сына, тебя зачислим матерью и бабушкой.

Нас раньше ее освободили, так она слезами облилась: «Бросаете меня, старую, потрепались только». Когда ее выпустили, немедленно примчалась к нам на стройку. И заменила всю родню.

— Сбылась ваша мечта о сыне? — спросил Зимин.

— И да. И нет. Папаша, как видите, угодил в тюрьму.

Улыбка сошла с лица Игоря. И не вернулась. А он очень хорошо улыбался, будто вспыхивал в нем тихий огонь.

— Как это вы опять оступились, Игорь? — огорченно спросил Зимин.

— А я не оступился. Однажды слышу — ищут меня по всей площадке, мол, Григорий Иванович прибыл на участок, ждет в конторе прораба.

Прихожу, Григорий Иванович грустный какой-то, вернее, даже мрачный. Посмотрел на меня и говорит:

— Скверное дело, Мосолов. В соседнем поселке ограбили магазин. Двоих нашли, взяли. Они тебя третьим называют. Говори прямо: верить им или нет?

— Не верьте, Григорий Иванович. Не виноват. Забыл и думать о таких делах. Вы же мою жизнь знаете насквозь. Скажите только: кого взяли за магазин?

— Мишку Семенова — прозвище Лошадка, Филиппа Митенина. Твои дружки.

— Бывшие.

— Зачем ты за них поручился, когда они пришли заниматься после лагеря?

— Поверил, как вы мне поверили. Подъехали ко мне на резиновых шинах: «Хотим завязать навеки, помоги, Стась». Взяли на бога. Дело хотят пришить, гады. Правилка.

Григорий Иванович долго смотрел на меня — глаза в глаза. Я взгляда не отвожу, очень хочется, чтобы он в мою душу заглянул, ведь чисто в ней.

— Верю тебе, Игорь. Придется точно вспомнить: где ты был позавчера весь вечер и всю ночь. Подумай и напиши к завтраму. Укажи свидетелей. Поеду к прокурору...

— А дальше? Мы до конца хотим знать твою историю,— перебил Фетисов затянувшуюся паузу.

— Пожили мы дружной семьей до зимы. Все ладно было. Сынок столько радости приносил. Если бы не работа, я и носу из дому бы не высовывал. Правда, три раза вызывал следователь по делу Метелина и Лошадки. Вроде поверил мне, отцепился. Намекнул: «Скажи спасибо одному человеку, очень верит тебе».

А я этому человеку и без подсказки буду говорить спасибо, пока дышу. Худо стало, когда остался без его поддержки.

— Как так? Неужели натворил что-нибудь?— в один голос выкрикнули Петро и Агошин.

— Если бы натворил... Григория Ивановича перебросили куда-то на Север. Наказали за что-то. Затем слух прошел: исключили из партии. Спустя время еще слух пронесся: арестовали. Я пытался разыскать его через знакомых и официально через управление. Писал, что знаю его, такой человек не может сделать плохого. Ошибка. Меня вызвали и прочитали нотацию: не суйтесь, разберутся без вас.

— В чем же дело? За что его?

— За то же, за что и вас, Павел Матвеевич. Говорили, с кем-то не согласился, за кого-то заступился, спорил. Эх, не знаем мы ничего! Вы не знаете, и я не знаю.

Игорь сидел с потемневшим лицом.

— ...Пришли вчетвером, наставили пушку. Как же: брали опасного рецидивиста! Обнял Шуру и Пуху, поддержал на руках Ванюшу и пошел под конвоем из своего первого и, чую, последнего дома. Шуре шепнул: «Бегите отсюда! Выберись — найду».

Привели к следователю. Человек тот же, разговор другой.

— Любимчик врага народа! Покрывал он тебя, теперь не покроет. Придется тебе, Мосолов-Ласточкин, ответить за ограбление магазина.

— Не дотрагивался я до магазина! Сами же согласились, что кореша мне шьют дело.

— Нет, я с тобой не согласился! Алиби твое липовое, я сразу понял. И вечером ты дома, и ночью — ишь какой примерный семьянин! А свидетели — жена да теща. Курам на смех.

— Да ведь все чистая правда. Семья ведь у меня. И соседи подтверждают.

— Брось арапа заправлять. Соседям ты втер очки, а нам не вотрешь! Кореша твои первый раз в жизни сказали правду.

Я и по-хорошему, и со скандалом — только унился перед ним. Дал четыре и еще поизмывался.

— Мало выхлопотал. Бери и беги, могло быть больше.

Оттолкнули мою лодку, Павел Матвеевич. В тюрьме я снова с кодлой: Выходит, иного выхода и нет. Беда, что тот прежний берег не манит. Всего и выпала капелька счастья на мою долю. Шура и сынок да Пуха — здесь они, в груди.

Мотает меня меж двух берегов и будет мотать. Здесь, в вагоне вас узнал, опять все взметнулось. Может, зря не убежал я с Колей Бакиным? Взглянул бы еще разок на родных. Кореша на воле помогли бы, не найти меня законникам ни в жизнь. Да не мог бежать, не мог заставить себя, мозги у меня теперь другие. Кореша до сих пор не верят, что мне с вами ближе. Все шепчут: «Что задумал, Стась, скажи нам? Что хочешь устроить с фраерами?»

Оказывается, бывает и так, Савелов. Или ты не веришь мне? — Игорь в упор взглянул на Володю.

Все мы тоже уставились на нашего старосту. Он с грустью и явным сочувствием смотрел на Мосолова. Ответил коротко:

— Верю.

Ему, очевидно, хотелось сказать еще что-нибудь. Но по себе знал: сильный человек не терпит утешений.

ГАЗЕТЫ

Газеты были тем, что связывало нас с жизнью. Конвой покупал на станциях местные газеты — уральские, потом сибирских областей. Среди информации о районных буднях мы искали перепечатки из центральной прессы и сообщения ТАСС. С жадностью набрасывались на «Правду» и «Известия» — они изредка доставались нам на крупных станциях.

Газетами распоряжался Зимин, он буквально священнодействовал. Устраивался поближе к окошку и

молча пробежал глазами от первой полосы до четвертой, поднося газету вплотную к очкам. Мы любили наблюдать за ним в эти минуты. Пробежав глазами по страницам, Зимин начинал читать вслух, комментировать, и мы не переставали удивляться его способности столь многое находить в обыкновенных словах. Именно с тех зиминских времен газета вошла в мою жизнь как нечто такое, без чего нельзя начать день.

Однажды мы долго стояли на большой станции — названия не знали, известно было, что где-то на границе Восточной Сибири и Дальнего Востока. По обыкновению, загнали в глухой безлюдный тупик.

Обычные на остановках хлопоты остались позади: конвой произвел проверку, паек и воду нам уже выдали, дежурные сходили подсобить на линии скудное топливо.

Я вместе с Володей торчал у окошка (в порядке очереди мы возлежали теперь на верхних нарах). С безмолвной тоской озирали безлюдный зимний пейзаж, необычный из-за видневшихся вдали округлых сопок.

Володя первым заметил стоявшего неподалеку старика в полушубке и валенках. Он терпеливо и внимательно разглядывал эшелон. «Стрелочник», — решили мы. Часовой у нашего вагона недовольно поглядывал на него, однако не прогонял. Для пробы я спросил старика:

— Какая станция, папаша?

Он приблизился шага на три.

— Карымская, милок. Не слышали про такую?

— Не слышали, — ответил я. — Теперь будем знать.

Далеко от Москвы-то?

— 6299 километров.

— Ой, далеко, отец!

— А у меня сынок тоже так-то, — негромко сказал вдруг старик и вытащил огромный красный платок, поднес к глазам.

Уж мы-то могли ему посочувствовать, хотя бы молча. Я подумал о своем отце и чуть не застонал.

— Спросите, ребята, не добудет он нам газеток, — мечтательно сказал Зимин. Услышал наш разговор через окошко и подошел.

— Папаша, не сможете ли достать газеток? — крикнул я.

— Газеты? — удивился старик и засуетился. — Я хотел передать две пачечки махорки, можно? А газет у меня много. Сторожем здесь на станции, и мне дают газеты — пачки разжигать. Только старые. Годятся для курева.

— Старые? — растерялся я. — Зачем нам старые, если табаку нет?

— Попроси у часового разрешения передать махорку! — заорали в вагоне.

Зимин, услышав мой ответ, тоже закричал:

— Вы с ума сошли, Митя! Это же замечательно — старые газеты! Пусть больше несет, если не жаль!

Павел Матвеевич так взволновался и так громко кричал, что кругом развеселились.

— Пусть даст махорку и к ней одну старую газету.

— Нам очень нужны старые газеты! — поправился я, смеясь. — Несите больше, сколько донесете. Нас хлебом не корми, дай старые газеты.

— Митя, я вас выпорю, — пообещал Зимин и полез к нам наверх — проверить, действительно ли старик побежал за газетами. Опасаясь, что часовой может не разрешить, комиссар решил подготовить почву. Часовой взглянул на него, выслушал и промолчал. Зимин крайне вежливо продолжал «обработку»: газеты, мол, не баловство, а средство воспитания.

Наконец старик появился с двумя большими свертками под мышками. Он с трудом тащил их.

— Еле несет два громадных тюка, аж сгибается, — объявил я. — Жаль старика. Бросил бы к чертям эту макулатуру.

— Митя, молчите, я убью вас! — вопил Зимин под хохот вагона.

Подойдя под взглядом бойца к нашему вагону, старик положил на снег свертки, сверху две пачки махорки и отошел подальше. Снова извлек красный платок, высморкался и продолжал разглядывать нас.

— Спасибо, отец. Мы тебя никогда не забудем, — и Зимин обратился к часовому с просьбой передать нам подарок доброго человека.

Часовой подозвал шедшего мимо бойца, показал на свертки и сказал:

— Посмотри и дай им. Махорку тоже.

Боец ощупал махорку, полистал лежащие сверху газеты и принялся открывать двери.

— Сынки хорошие, может, встретите где-нибудь моего Сашу, передайте: пусть не убивается, дома все благополучно,— срывающимся голосом попросил старик, и опять красный платок тревожно замелькал в его руках.— Все мы живы-здоровы: и мать, и супруга, и детки. Полухин его зовут, Александр Иванович. Будьте добреньки, милые.

— Передадим, отец, Полухин Александр Иванович, не забудем. Дома все живы-здоровы.

— Отставить разговоры! — скомандовал часовой.

В вагоне шумели, взбудораженные подарком вокзального сторожа; Зимин уже пристроился с газетами возле окошка, курильщики набивали самокрутки подаренной махоркой.

Мы стали обладателями не меньше чем сотни номеров «Правды» и, к удивлению, «Вечерней Москвы» — как она очутилась тут? Зимин счастливым голосом сообщил: газеты вовсе не старые — тридцать четвертый и январь-февраль 1935 года.

— Ах, какой замечательный старик! — ликовал Зимин.— Умница, золотой человек!

Теперь Зимина никакими силами не оторвешь от неожиданного «сокровища», он собирает желающих и читает, читает с упоением. В газетах находит материалы XVII партсъезда и загорается:

— Слушайте, ребята, слушайте, не пожалеете.

Мы и не пожалели. Собственно, Зимин не столько читал, сколько рассказывал о съезде, о докладе Сталина, о выступлениях руководителей партии.

— Убей меня бог, наш комиссар был на съезде! — шепчет Володя, подтверждая мои мысли.

Очень уж достоверно передает он подробности, реплики, смех Кирова, шутки Ворошилова — такое мог знать только участник. Несомненно, Павел Матвеевич присутствовал на съезде, видел Сталина и его ближайших соратников, возможно, разговаривал с ними. Не одни мы с Володей почувствовали это. Однако не всеми, далеко не всеми рассказанное и прочитанное Зиминим принималось так безоговорочно и горячо, как нами.

— Слишком много льстивых слов,— пробурчал Мякишев.— Неужели сам не замечаешь?

— Льстивых слов? — даже растерялся Зимин, воодушевленный нарисованной им самим картиной съезда.

— Да вот таких, что ты вычитал. «Гениальный», «великий», «его величие».

— Да-а... Пышность,— надтреснутым голосом подержал Дорофеев.— Что ни фраза — «грандиозная оvação товарищу Сталину», «слава великому вождю». Даже в письме колхозницы — забыл ее фамилию — то же самое.

— Ну и что же? — спросил Зимин.

— Скажи, пожалуйста, зачем так пылить в глаза? Сначала Сталину, а за ним и другим кадят изо всей силы. Молотову, Кагановичу, Калинин, всех не перечтешь.

— Им поменьше,— засмеялся кто-то.— Труба пониже, дым пожиже.

— А к чему это вообще? Скромности не хватает у людей, глотают похвальбу, словно пирожное.

— Я объясняю все эти слова иначе,— задумчиво сказал Зимин.— Не подхалимством и не желанием польстить.

— Чем же?

— Желанием утвердить авторитет вождя партии, показать уважение и любовь людей к руководителям, веру в них.

...Сейчас я вспоминаю эти споры и думаю о трагической судьбе таких людей, как Зимин. Они не могли тогда предугадать всех последствий того, что уже зародилось и пышно расцветало, не могли предугадать опасности беспредельной личной власти. Но вне сомнения — нечто чуждое ленинскому духу коробило и огорчало их. Сталин был вождем партии, и они пытались оправдать его, объяснить. Высказывали свои сомнения товарищам по партии и чаще, чем мы знаем об этом, самому Сталину, тем самым желая повлиять на него. От Фетисова мы знали: Зимин не молчал. Исход оказался трагический.

— Хвастовство в каждой статье,— после очередной читки начинал кто-нибудь новую дискуссию в вагоне.— Пишут о важных вещах, полезно послушать, но слушать трудно, так хвастаются. Объясни, Павел

Матвеевич: кому нужна брехня? Или ты ее не видишь?

— Вижу,— смеется Зимин.— Хвастовство в солидных количествах. Объяснение мое такое: через газеты хотим рассказать о великих делах народа. А рассказываем часто неумело, плохо, без меры, допускаем перехлест.

В вагоне зашумели.

— Еще какой перехлест! Сделаем на копейку, хвастаемся на рубль. Сделаем на рубль, хвастаемся на всю сотню.

— Зачем врать самим себе, мы же не маленькие. Людям нужна только правда. Знаем же: жизнь трудна, в ней много тяжкого, не все удастся.

— Вы читали сейчас: Сталин сказал, будто в сельском хозяйстве задачи, в основном, решены. Ничего себе решены, когда все голое, босое и голодное и крестьяне бегут и бегут из деревни, от земли-матушки.

— В наших газетах и в докладах только так бывает: каждый месяц и квартал перевыполнение, обязательно рост на несколько процентов. Если верить газетам и докладчикам, если сложить их проценты, должно быть изобилие.

— Никогда не говорим о недостатках, только о достижениях. Никогда не признаем промахов и провалов, тяжелых неудач. Будто их и нет!

— Я так скажу,— слышался густой дьяконовский голос Мякишева.— Люди привыкают к обману, к вранью, к преувеличениям и перестают верить даже сущей правде.

Не сердясь и не отмахиваясь, Зимин внимательно вслушивается в любое замечание, в каждую реплику. И отвечает, пытается ответить, будто он и никто другой виноват во всех промахах и недостатках. Тогда, тридцать лет назад, я не понимал, зачем нужно ему выслушивать придирки и нападки, иногда предельно злые и обидные. Теперь понимаю: очутившись в обстановке этапа, где люди, уже осужденные, не опасались говорить то, что лежало на душе, Зимин старался понять их. И на жизнь страны пытался взглянуть новым, обостренным зрением. Верил: скоро недоразумению конец, он выйдет из тюрьмы, вернется к своей партийной деятельности, обогащенный новым знанием жизни народа.

Люди ждали его ответа, и он отвечал искренне, не уходя от остроты и сложности. Да, я согласен, говорил он, в наших газетах теперь меньше критики, они обходят недостатки. Товарищ Сталин и за ним многие считают: недостатки надо видеть, чтобы их исправлять, а не трубить о них. За границей незачем знать наши слабости.

— Ну, а вы? Ваша точка зрения? Есть она у вас?— это Дорофеев не удержался.

— А как же? Без нее нельзя коммунисту,— отвечал Зимин.— Мы сильны, и нам не подобает бояться правды, как бы она неприятна ни была. Вот моя точка зрения. Вы удовлетворены?

— О, да! Хотелось бы знать, высказывали вы ее вне вагона или нет?

— Можете не сомневаться. Уж кто-кто, вы-то должны знать: Ленин никогда не боялся говорить о наших слабостях и ошибках. Даже в самые отчаянные времена, когда враги наседали со всех сторон, не скрывал правды. А вам хочу напомнить, Дорофеев: мы и сейчас в осаде — кругом враги, которые ликуют и злорадствуют, когда нам худо.

— Спасибо за напоминание. К чему оно?

— К тому, что в осажденной крепости суровая дисциплина.

— Ну и что? Это приглашение закрыть рот?

— Нет. Совет подумать, имеем ли мы сами право злорадствовать, если у нас в доме что-то худо. Все хорошее — наше, но и все плохое — наше. Сдается, что вы частенько сбиваетесь на злорадство.

КОРОЛЬ ЛИР УМЕР

Он лежал на пустых верхних нарах, огромный, неподвижный, строгий. Закрылись воспаленные от грязи выпуклые глаза, куда-то девались синеватые сумчатые мешки под веками, побледнели яркие склеротические краски на лице. Оно стало благообразным и важным.

Старый и больной, он угасал на наших глазах. В нормальных условиях, возле сыновей и внуков, наверное, прожил бы еще много лет. Для нашего вагона требуется железное здоровье. Постоянный холод,

грязное тело и зуд. Угольная пыль в носу, во рту, в ушах и в глотке. Вонюца от параши, которую ничем не прикроешь, не изолируешь. Воздух густой, как сама моча. Мякишев успокаивает: «Скажи спасибо, что зима — холодно, зато не так вонюче и не так грязно». Летом было бы еще хуже.

Вспоминаю с горечью: первые недели Кровяков лежал на самом скверном месте — у параши. Только после «укрощения блатных» устроили его получше. По очереди ухаживали за стариком, кормили, умывали — сам не мог. Кто-то, кажется Севастьянов, ухмылялся: «Напрасны ваши ласки и хлопоты, не помогут». Теперь Севастьянов который раз подходит к покойнику и молится, нагоняя тоску своим бормотанием.

Володя и я условились с самого начала ничему не поддаваться: ни холоду, ни грязи, ни отвращению, ни плохим настроениям. Терпеть, и никаких гвоздей!

Болен Дорофеев. По заключению Гамузова, у него что-то с печенью или с желудком. Надо бы попросить конвой высадить на крупной станции, где есть больница. Бывший прокурор яростно возражает, он чего-то страшится, все твердит: «Если высадят — конец».

Зимин боится ослепнуть. Он пытается этого не показать, но я вижу его тревогу, замечаю, как он протирает веки чистой тряпочкой. Ему нельзя лежать на нижних нарах — там совсем темно. Каждый из нас готов отлежать внизу его очередь, но он не разрешает — чем я лучше других? А тут еще «жлоб» Воробьев, раз в три дня он меняется местами с Зиминным и ревностно следит, как бы «комиссару» не сделали поблажки.

Час за часом недуг отнимал у Кровякова все людское. Сознание его омрачалось, гасло. Нет, хуже всего, страшнее всего потерять разум! Как это верно сказано: «Не дай мне бог сойти с ума, лучше посох и сума».

Кровяков умер. Вагон говорит: отмучился. Верно, перестал страдать от своих безумных видений, после них непереносимо хотя бы на секунду прийти в себя. Кровякову чудились сыновья. В омраченном сознании он принимал за них меня и Володю либо Петра

Ващенко с Агошиным. «Сыны... Сынки... Детки...» — шептал он и широко, радостно улыбался.

Тюрьма хуже всего, хуже самой страшной болезни, хуже самой смерти. Если б я знал, что сидеть мне придется долго, я бы не стал жить, я бы умер.

Так и эдак верчу в руках письмо Короля Лира сыновьям. Несколько раз принимался писать под его диктовку. Старик, обретя на короткое время сознание, диктовал только добрые, ласковые слова. Крепя сердце я записывал их. Потом Кровяков просил: «Порви, не надо». Последнее письмо он тоже велел порвать. Оно уцелело, я не успел выполнить его волю. Как же быть теперь?

Советуюсь с вагоном. По-моему, надо послать другое, наше коллективное письмо. Володя сразу соглашается. Зимин и Фетисов соглашаются пораздумав. Севастьянов не может понять:

— Старик помер, к чему все это?

Володя говорит:

— Не слушай, Митя, пиши. Пусть прохвостам будет тошно, пусть помучаются, может быть, у них все-таки проснется совесть.

И я пишу кровяковским сыновьям про нашу тюрьму на колесах, где мучился до конца жизни их отец. «Ваш отец не жаловался на холод и голод, на вонь и грязь, он жаловался на каменные ваши сердца. Теперь он умер, он вас больше не побеспокоит. Мы, товарищи вашего старого отца по несчастью, шлем вам наш плевок в лицо, наше презрение!»

Вагон одобрил письмо, поставил подписи, даже Севастьянов и Сашко подошли и подписали. Мякишев расписался и сказал:

— Справедливо. Всегда бы так с подлыми людьми, чтобы земля у них под ногами горела.

На очередной остановке конвой вытащил из вагона Короля Лира.

— Еще одним бедолагой меньше,— пробасил Мякишев в мертвой тишине.

— Но за нами еще два письма,— сказал я, чтобы сбить, отогнать гнетущее настроение.

— Еще два? Кому же?

— Двум мерзавцам: тестю Коли Бакина и начальнику Пиккиева.

— Верно, Митя. Пиши.

Я пишу письмо в трех экземплярах, потом другое, тоже в трех. «Знайте, что мы, товарищи по несчастью, не простим вашей подлости. Помните: рано или поздно мы вернемся и потребуем от вас ответа за преступление».

Снова заспорили: подписывать или пустить так? Эти подонки получают письмо и донесут, им не привыкать.

— Ответим, если придется. Семь бед — один ответ. В благородном деле все должно быть честно, чисто.

Все согласились с Зиминым, и затем долго продолжалась процедура подписания.

Когда вагон тронулся, я, выждав немного, выбросил из окошка один за другим шесть треугольников.

В вагоне, несмотря ни на что, я много думал о своем призвании. Вспоминал о беседах с отцом, убежденно твердившим: «В искусстве нельзя без глубокого знания жизни».

Чтобы развлечь товарищей, я копировал Агошина с его куском масла на капоте, товароведа Петреева, пытающегося «списать» целиком Мосторг. Аплодисменты грохотали, как в настоящем театре. Со всех сторон кричали: «Ты настоящий артист, Митя!»

Я-то знал, далеко мне до артиста. К самостоятельности в школе и на заводе прибавилась самостоятельность в тюрьме, только и всего. Петро точно заметил: «Мы с тобой народные артисты в масштабе вагона с решеткой и парашей».

Многими часами под толчки вагона и скрежет колес я мечтал и ругал себя: о чем думаешь, дуралей? Твой театр — лагерь, куда тащит тебя судьба. Твой театр — тачка и лопата или двуручная пила. Прибегая к словарю блатных: бортом, Митя, бортом! Наша не пляшет!

ОПЯТЬ ТЕ ЖЕ ГАЗЕТЫ

Утро началось с бурного веселья блатных, они плясали возле печки, в которой энергично гудел огонь. Пылал он недолго. Вернувшись на свои нары, урки философствовали:

— От политики, известно, мало толку — вспыхнуло и погасло.

Не сразу разобрались: в печке сгорели сокровища Зимина — старые газеты. Комиссар рассердился, впервые накричал, выругался.

Рассердился не он один. Газеты последнее время вошли в быт вагона. После утренних немудреных хлопот, после завтрака «чем конвой послал» многие ждут, когда Зимин усядется на верхних нарах и, поднеся к носу газету (он все хуже видит), начнет читать. Даже те, кто на воле газет не касался и не верит им все, вроде «жлобов», не против послушать.

Теперь газет не стало — и урок косят за варварство. Удивленные, они даже не огрызаются. Но вдруг Зимин сообщает: самые интересные газеты он предусмотрительно спрятал у себя под головой.

— Чего же ты ругался, Матвейч? — спрашивает Мякишев.

— На всякий случай, для профилактики.

— Давай начинай, чего драгоценное время теряешь, — басит Воробьев.

— Митя, приступим, — подзывает меня Зимин.

Я помогаю ему забраться на верхние нары, лезу сам, и мы устраиваемся у окошка. «Комиссар» приспособил меня в качестве чтеца.

— Обыкновенные листки бумаги, вот видите, какие мятые, но в них необыкновенный — одна тысяча девятьсот тридцать четвертый год, — так с пафосом начинает Зимин.

— Ха! Чем же он необыкновенный? — насмешливо спрашивает Гамузов. Он стоит у печки. Всем холодно, а ему холоднее, чем всем, и он очень раздражен. — Год и год, самый обыкновенный.

Зимин улыбается и покачивает головой, реплика Гамузова помогает ему завести разговор. Вспоминая эту сцену, я не перестаю удивляться Зимину. Заключение, едущие в неизвестность, и с ними партийный агитатор, такой же заключенный, как все остальные.

— Наш вагон — печальный факт, что и говорить. То, что с нами произошло, плохо, очень плохо! Но мы не маленькие и понимаем: наш вагон — еще не вся страна, не вся наша жизнь, он капелька. А страна, огромная родина живет, трудится. Вы спрашиваете, Гамузов, чем этот год необыкновенный? Я отвечаю.

В этом году исполнилось десять лет со дня смерти Ленина — за десять лет усилиями народа страна поднялась и стала могущественной. В этом году мы закончили первую пятилетку и начали вторую. В этом году был XVII съезд партии.

— Вы забыли или хотите забыть еще одно событие этого необыкновенного года! — крикнул Дорофеев, подскочив, словно ванька-встанька.

— Нет, я не забыл, не могу забыть даже если бы хотел, — возразил Зимин, — убийство Сергея Мироновича Кирова.

В молчании, под металлический диалог колес и рельсов, под несмолкаемый перестук и лязг то сам Зимин, то я читаем траурные сообщения. Из рук в руки переходят газетные листы в черных рамках. Отовсюду смотрит на нас сильное, волевое лицо Кирова. Киров на трибуне съезда. Киров на заводе среди рабочих. Вот он идет в Кремль рядом со Сталиным. И вот он в гробу, с закрытыми глазами. Толпы ленинградцев провожают его в последнее путешествие — в Москву. Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов стоят в карауле. Москвичи прощаются с Кировым в Колонном зале.

Неужели прошло всего три месяца? В тюремном вагоне пережитое повторилось с томительной силой. Я вспомнил, как мы всем заводом шагали от Сокольников к центру города на похороны. Вспомнил настороженную и пугающую тишину Колонного зала. Особенно тревожна эта тишина, когда на какую-то минуту смолкает надрывная траурная музыка. Нет, это не тишина, а неумолчный глухой шум шагов тысяч и тысяч людей, идущих мимо гроба.

Убийца Николаев. Он проклят миллионами советских людей. И сейчас его проклинаят в нашем вагоне.

— Мало его расстрелять!

— Из-за него, гада, мы страдаем!

— За что же он его?

— Враги подослали.

— Какие враги?

— Зиновьевцы, оппозиция.

— Почему же именно его?

— Говорят другое: Киров уволил его за скверную работу и он обозлился.

— Почему же тогда в газетах пишут: враги, зинovieвцы? При чем тут они?

— А при том, что Киров был любимым учеником и другом Сталина — значит, им как бельмо на глазу! — сказал Фетисов.

— Расскажи: какой он был? — попросил Агошин. — Приходилось встречаться с ним?

— Какой он был? — растерялся Фетисов. — Я встречался с ним не раз. Бывал у него в обкоме частенько, несколько раз он приезжал на завод. — Фетисов задумался. — С ним надежно было, понимаете. Ему верили потому, что не обманывал, не бросал слов на ветер. Требовал, но и умел помочь. Детей любил и очень жалел.

Фетисов рассказывал, а я вспоминал: вот так же просветленно говорил о Кирове отец. Два раза в жизни я видел его слезы — когда хоронили Ильича и когда он узнал о гибели Кирова.

— Киров любил Сталина, словно отца родного, — сказал Фетисов. — И Сталин видел в Кирове своего преемника и опору.

— Послушайте, что ленинградские рабочие писали ему. — Зимин поднес газету к очкам. — «Мы хорошо знаем, как тебе тяжело в эти дни».

— По крайней мере, не тяжелей, чем нам! — проворчал кто-то.

— «Смерть Кирова дорого обойдется врагам», — читал Зимин письмо москвичей ленинградцам.

— Красиво сказано, а? Честное слово: красиво! — обрадовался вдруг Гамузов и зацокал языком.

— Чудак ты, доктор. «Красиво»!

— Да, обошлось дорого не одним врагам. Рикошетом к нам отскочило, уложило тысячи! — вздохнул Володя. — Кто бы умный объяснил: зачем нас-то? Мы зла Кирову не желали.

— Сунули тебя в тюрьму, значит, желал! — захохотал Кулаков.

Урки загалдели, им надоела политграмота. Зимин начинает читать постановление ЦИК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы».

— Это очень важно! Тихо! — привстал Дорوفеев.

— Тебе важно, нам не важно! — огрызнулся Ку-

лаков и попытался затянуть песню. Кто-то стукнул его, песня оборвалась.

— Пункт первый,— четко выговаривал Павел Матвеевич.— «Следствие по этим делам заканчивать за десять дней». Пункт второй: «Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела». Пункт третий: «Дела слушать без участия сторон». Пункт четвертый: «Обжалование приговоров не допускать». Пункт пятый: «Приговор к расстрелу приводить в исполнение немедленно».

— Страшные пунктики,— протянул в общем молчании Ващенко.

— Эти пунктики окончательно узаконили беззаконие,— тыча пальцем в Зимина, зло сказал Дорофеев.— Начало было положено раньше, за несколько месяцев, когда создали Наркомат внутренних дел, назначили наркомом Ягоду и учредили так называемые тройки. Суды для политических дел упразднили. Если ты, к примеру, украл кило колбасы или бутылку водки, тебя будут судить по нормальному закону. Но если на тебя какой-нибудь подлец донес, что ты против Советской власти рассказал анекдот или позволил себе в чем-то усомниться, тебя хватают ночью, суют в «черный ворон», быстренько оформляют дело, вызывают один-два раза на допрос — и готово! На свете появляется еще один классовый враг. Для внесудебного органа — тройки этой самой — участие сторон не требуется. Какое тут участие сторон, когда закрутиться надо в десять дней? Для невидимой тройки не обязательно участие самого обвиняемого: приговор она выносит заочно, не видя в глаза того, кого судит. Обжалование приговора тоже не полагается. Вот вам и пунктики. Все предусмотрено, чтобы человек не мог доказать своей невиновности.

Дорофеев выкрикнул свою горькую тираду и опять улегся.

— Вы так кричали на всех нас, особенно на Зимина, будто мы придумали этот закон и невидимые тройки,— сказал Володя.

— Неужели прокурор говорит правду? — огорченно спросил Петро.— Ведь какое бесправие получается, маменька моя!

Дорофеев вскочил в бешенстве.

— И вы спрашиваете: правда ли? Значит, на своей шкуре не испытали?

— Кто же мог все это придумать?

— Подписал постановление тот, кому положено подписывать: Калинин. Кирова убили первого декабря, и в ночь на второе Калинин подписал. Ему позвонили по телефону из Ленинграда и продиктовали все пунктики, которые торжественно прочел Зимин.

— Кто же продиктовал? Кто может диктовать Калининину?

— Не знаю. Кто-то может, видно.

— Черт знает что! Зачем потребовался незаконный закон?

— Написано: для борьбы с террористами и террористическими организациями. Каких террористов покарала, не знаю, а невинных людей пострадало много. Здесь в вагоне я террористов не вижу, зато вижу мальчишек вроде Промыслова.

— Вы уж подождите укладываться,— Фетисов решительно подошел к Дорофееву, будто хотел силой помешать ему лечь на место.— От ваших речей все время такое впечатление: вы знаете больше, чем написано в газетах. Или пускаете дым в глаза?

— Верно сказал, Николаич,— подхватил Мякишев.— Прокурор все дразнит нас. А я хочу спросить у него: разве могут прокурора в тюрьму, как нас, простых смертных?

— Надо мной стоял прокурор повыше,— буркнул Дорофеев.

— За что же он вас?

— За правду, если хотите знать. Как раз за то, что возразил против несудебных органов, пытался сказать о незаконности постановления.

— Кому же возразили?

Мякишев не отстаивал, а Дорофеев, видимо, досадовал на свою несдержанность.

— Начальству,— ответил он и махнул рукой.

— А оно что, ваше начальство? — допытывался Мякишев.

Дорофеев разозлился.

— Слушайте вы, бывалый человек! Черт бы вас побрал совсем!

Он тяжело плюхнулся на свое место.

Я ждал реакции Зимины и не дождался. Он расти-

рал окоченевшие пальцы, потом снял очки, обнажив усталые глаза, и провел руками по лицу, как бы умываясь. Мне кажется, он обдумывал сказанное Дорофеевым.

— Давайте еще почитаем,— предложил Зимин.— Митя, прошу.

Я читал о траурном митинге на Красной площади. Об аресте лиц, готовивших террористические акты против деятелей партии. О письме двухсот тысяч рабочих Сталину: «Отомстим за смерть дорогого Сергея Мироновича». О приговоре по делу террористов в Киеве. О процессе зиновьевской группы. О гневных откликах на процесс: «Их надо уничтожить... рабочие требуют расстрела...»

— Злодеев надо уничтожить, конечно! — Гамузов, сверкая глазами, раздувал ноздри.

— Эх, доктор! Опоздал ты. Их уже и нет на свете,— укоризненно покачал головой Мякишев.

— Почему же нету? Живехонькие! В тюрьме газет не прочтешь, вот и не знаете ничего,— объявил Дорофеев, уже не поднимаясь.— Пусть Зимин подтвердит: Зиновьеву дали десять лет, как мне, например. Каменеву — пять, как Фетисову или вам, Мякишев. Остальным еще меньше: кому три, как Мите Промыслову или нашему старосте.

— Врешь, прокурор! Факт, врешь! — заорал Мякишев. Он в упор смотрел на Зимина, однако тот не опроверг прокурора.

— Если не врет, тогда совсем не понимаю, а? — волновался Гамузов.

— В самом деле,— недоумевал и Петро.— Почему к ним так жалостливо?

— Если виноваты они в убийстве Кирова, жалеть нечего. Не виноваты — нельзя давать и два года. Другого подхода быть не может,— рассудил Володя.

— Нас, значит, к главным врагам приравняли,— с болью сказал кто-то.— Их всенародным судом и на показ через газеты. А нас втихую, без всякого суда. Знаешь, Пал Матвеев, хватит твоих газет, ко всем чертям!

Мы, не исключая Зимина, сидели притихшие. Словно выстрел грохнул вдруг взрыв хохота урок — им, должно быть, показалось забавным уныние политиков.

Ты удивлялась — что это я зачастил в Ленинскую библиотеку? Вечер за вечером проводил за чтением старых подшивок «Правды». Старался заново пережить, понять время, стремительно протачившее меня, словно былинку, в своем неотвратимом потоке.

И произошло так, что ко мне вернулось пережитое, тюремный вагон. Услышал глуховатый голос Зими́на, увидел угрюмые заросшие лица своих спутников, почувствовал тепло прижавшегося Володи.

Переворачивая страницы, я торопился найти знакомое. Находил и радовался: вот эту статью дважды читал по просьбе Зими́на, из-за этого сообщения разгорелся спор.

Наваждение исчезло не сразу, а когда оно спало, я читал статьи и заметки как бы иными глазами. И, знаешь, меня потрясло... Я ощутил жгучее чувство протеста.

— Не понимаю, Митя.

— Сейчас объясню, потерпи. Зими́н, конечно, не ошибался. 1934 год был большим годом в жизни страны, вехой в великой стройке. Газета убеждает в этом.

Но понять истину мешает фанфарное славословие Сталину. Каждый абзац статьи, почти любой период речи государственного деятеля, каждое письмо или документ начинаются или заканчиваются словами «гениальный» и «да здравствует». Громадную статью Радека в новогоднем номере 1934 года под названием «Зодчий социалистического общества» неприятно читать. Лесть доведена в ней до грани, после которой только пародия или карикатура. Радек был знаменит своей иронией, ядовитостью, а тут захлебывается в сладкой слюне.

Полистай старые газеты и сама услышишь, как они вопят: уже в 1934 году, в десятую годовщину со дня смерти Ленина, всюду расцвел зловещий цветок культа личности, уже тогда на жизнь советского общества легла тяжелая бетонная плита диктаторского всевластия.

Я нашел в газете то самое письмо колхозницы, о котором шли разговоры в вагонзаке: «Спасибо тебе, товарищ Сталин, что ты нас заметил и оценил наши труды». Так и вижу ползущим на брюхе человека, сочинившего это письмо старой женщины.

Ты вправе упрекнуть: хорошо быть умным задним числом. Верно, не спору. Я ведь и ругаю самого себя, и радуюсь новым своим глазам. Сняты нелепые шоры, они не мешают смотреть, и то, с чем раньше мирился, нестерпимо для меня, человека шестидесятих годов. Конечно, и сейчас немало пустозвонства и треску по привычке, но нет же этого одуряющего молитвословия божеству. Возвращаемся к нормам и правам, приличествующим нашему обществу.

Ответственность за судьбы революции обязывает крепко помнить урок. Нашему обществу удалось избавиться от Сталина. Но полностью ли, во всем ли? Нет, к сожалению. Зловещий сталинский гений подобно радиации оказал проникающее вглубь воздействие на всех — на одних больше, на других меньше. Есть среди нас мелкие политиканы, авантюристы по натуре, холодные дельцы, для которых не существует, кроме личной корысти, никаких святынь, есть просто люди с рабской психологией, по их представлениям, они больше потеряли, чем получили, такие все еще оглядываются назад и готовы быстренько признать нового бога, ежели он вдруг вознесется на нашем небе. Только мы твердо знаем: любые потуги утвердить новый кумир обречены на провал. Верно или нет?

ПРОКУРОР УХОДИТ С ВЕЩАМИ

Мы едем давно, целую вечность, и ни разу не раздавалась долгожданная команда: «Такой-то, с вещами на волю!» У нас никто не верит в чудо, я тоже перестал в него верить. Чудес, к сожалению, не бывает.

А чудеса бывают! На станции Амазар к вагону подходит начальник конвоя.

— Дорофеев! Дорофеев! Есть Дорофеев?

— Есть! Вот он! — хором отзываются соседи прокурора.

— Дорофееву приготовиться на выход с вещами!

Начальник конвоя быстро отходит: очевидно, и в других вагонах есть счастливцы, он спешит их обрадовать.

Вагон потрясен. Приходится признать чудеса. Если Дорофеева выпускают, могут выпустить и меня! Вагон шумит, торопит:

— Прокурор, собирайся живее!
— Спешу, пока не передумали!
— Возьми адресок, черкни открытку жене, когда будешь в Москве!
— Ребята, пишите записки и адреса, прокурор передаст!

Странный он, Дорофеев: вагон радуется за него, а он недовольный, мрачный. Не сразу привстав, собирает пожитки в баул. Он болен, не вполне, наверно, дошло до сознания, что его ждет воля. Воля! Дверь отъедет в сторону: выходи, Дорофеев, на свободу! Подумать только!

— Прокурор, подтянись! Сделай веселое лицо. Хвороба твоя пройдет, едва приедешь домой.

— Ох, ребята! Чья теперь очередь? Кто следующий?

— Помолчите лучше, не мучьте. С удовольствием поменялся бы с любым из вас.

Это с надрывом говорит Дорофеев. Вагон смеется: согласны меняться, давай! Прокурор стонет и ложится, он не может ни стоять, ни сидеть. Чувствуем себя виноватыми... Несколько раз порывались просить конвой высадить больного на станции, где есть лазарет. Дорофеев яростно возражал. Зря его послушали.

— Зимин! Зимин! — неожиданно зовет Дорофеев. Комиссар подходит. Прокурор обращается к соседям: — Товарищи, нам надо поговорить по секрету. Вы уж извините напоследок. Очень нужно!

Озадаченные «жлобы» слезают с нар. Севастьянов кричат:

— О господи! Не успели доругаться!

Я помогаю Зимину взобраться на верхние нары. Морщась от боли, Дорофеев что-то шепчет Павлу Матвеевичу на ухо.

Их таинственная беседа длится долго. Вагон старается изобразить полное равнодушие, хотя всем чрезвычайно интересно: о чем это прокурор может шептать комиссару перед освобождением? Зимин записывает на бумажке адрес Дорофеева, поднося ее к самым очкам. Они явно перепутали: это Дорофееву надо записывать адрес семьи Зимина, ведь его отпускают на волю.

По команде конвоя староста, Мякишев и Птицын

уходят за пайком. Дежурные по команде подают кипяток и холодную воду и по команде опять уходят — промышлять топливо. Время идет, счастливец не торопится на волю, все шепчет и шепчет что-то комиссару. Сквозь шепот прорываются восклицания: «Вот-вот, никто из нас тоже не мог поверить!», «Говорю тебе, это его слова».

— Нашел время для беседы! — удивляется Петро.

Агошин собрал записки и сует прокурору. Тот, не глядя, кладет их в карман пальто. Володя и его помощники приносят паек. Дежурные кидают в открытую дверь вагона уголь и дровишки. Боец кричит:

— Хватит! Хватит вам!

Вагон спорит:

— Тут всего на пару часов топки, ведь холодище! Мерзнем, как собаки!

Дежурные лезут в вагон, дверь задвигается.

Теперь Зимин шепчет Дорофееву. Тот злится, кричит:

— Не надо меня успокаивать, я не маленький.

— Дорофеев, выходи с вещами! — звучит удивительная команда с воли. Дверь с радостным визгом отъезжает в сторону. Вагон гудит.

Помогаем прокурору сойти с нар, вернее, на руках спускаем его. У него желтое лицо, странно дергается в тике щека. Плох Дорофеев, совсем плох! Не стоит на ногах, валится, приходится поддерживать с обеих сторон. Володя запикивает в его баул хлеб, сахар, кусок колбасы. Пригодится.

— Он больной, не сможет идти, помогите ему, братцы, — упрасивает Фетисов бойцов конвоя.

— Поможем! — весело обещает кто-то из ребят в полушубках. Краснолицые, здоровые, они подпрыгивают, гулко хлопают валенком о валенок и варежкой о варежку. Им тоже холодно, мороз их тоже не щадит, как и нас, грешных.

Из своих рук передаем Дорофеева в руки конвоя. Он стонет.

— Поправляйся, прокурор! Ни к чему тебе хворать!

— Привет передай воле!

— Расскажи там о нас кому надо!

— Товарищи, не поминайте лихом! Прощайте! Прощай, Зимин! — глухо выкрикивает уходящий.

Дверь задвигается с грохотом и лязгом. Я у окошка, смотрю, как двое бойцов ведут, почти несут прокурора. Третий с винтовкой позади. Даже на волю провожают с винтовкой! Вот они исчезают за вагонами. Я спрыгиваю и чуть не сбиваю с ног Мякишева.

— Еще одним меньше,— эпически изрекает он.

— Ушел по-счастливому,— возражаю я.— Нам бы так же.

— Не завидуй,— качает большой головой Мякишев.— Невеселый он ушел и больной.

В вагоне начинается священнодействие: дележ пайка.

— Чей?

— Фетисова.

— Чей?

— Агошина.

— Чей?

— Доктора.

— Чей?

— Кулакова.

Вагон забывает о Дорофееве: с глаз долой — из сердца вон.

Впрочем, не так: не все и не сразу его забыли, хотя вряд ли кому-нибудь запал в сердце этот постоянно раздраженный человек. Его удивительное освобождение вызвало надежды, и теперь часто слышится:

— А прокурор-то небось чаек попивает с женой и детишками.

— Или в баньке парится, тюремную грязь смывает.

— А может, в пивной сидит с дружками, про нас балакает.

— Ну да, скажешь! Мы ему вроде дурного сна. Проснулся — и нету нас. Красота!

Наша компания вела о Дорофееве беседы много толка. Зимин не считал нужным скрывать «секреты», лихорадочно выложенные ему перед высадкой Дорофеевым.

По его словам, Сталин сам организовал грандиозную тризну по Кирову. Он — и никто другой — был автором закона об упрощенном и ускоренном судопроизводстве политических дел, открыл дорогу безграничному произволу. Едва ступив на траурную ле-

нинградскую землю, обвинил местных руководителей прокуратуры и НКВД в потере бдительности и отстранил от следствия. Слепцы, они толковали что-то о личных причинах убийства, о самом убийце как не о вполне нормальном и обозленном неудачами человеке. Словом, попались на удочку оппозиции и врагов, стрелявших в Кирова!

Так дело оказалось в хозяйских руках великого, и он дал ему нужное направление и достойный размах.

Дорофеев заявил, будто он и его коллеги пытались возразить, даже осмелились написать о своем несогласии с беспрецедентным законом. Им и в голову не пришло, что они сочинили свой собственный приговор. Служители закона оказались в числе первых жертв ускоренно упрощенного суда.

— Дорофеев был явно не в себе,— рассудил Зимин.

— Бред,— еще короче отозвался Фетисов.

Теперь, спустя тридцать лет, я понимаю: нет, не в бреду высказывал ленинградский прокурор свои тревоги, не напрасны были его страхи. Волею судеб он оказался в числе людей, приобретенных к тайнам Кировского дела, поэтому и не ждал добра, чувствовал: высаживают не на свободу, на муки. Недаром твердил: «Я погнб». Недаром Зимин по его просьбе записал адрес семьи.

Не знаю, какие ответные мысли вызвали утверждения Дорофеева в сознании нашего комиссара. Возможно, не все он передал нам из торопливых сообщений бывшего прокурора. Мне представляются его мучительные раздумья в темноте вагона бесконечными ночами — ленинградские тайны могли многое объяснить в происходящем. Может, уже тогда он понимал, что все мы — он сам, Фетисов, Володя и я, многие-многие другие,— все мы не больше, чем статисты в гигантской инсценировке. Может, уже тогда старый большевик Зимин размышлял о том, какие испытания ждут советских людей. Оберегая нас, молодых, от обессиливающего разочарования, он еще не отказывался от душеспасительной ссылки на «недоразумения» и по-прежнему решительно отводил от Сталина подозрения. И мы, молодые, чистосердечно и простодушно возмущались Дорофеевым, его злыми наветами. Я помню, как сожалел Ващенко, что человек с такими настроениями, способный бросить тень на

великого Сталина, вышел на свободу. Уж его-то не зря, не зря осудили на десять лет!

Чудо не повторялось, и все-таки в него верили. Шутили, измывались над собой, но в глубине души у каждого трепетало ожидание: скоро, скоро моя станция, где начальник конвоя даст команду: «Такой-то, с вещами — на волю!»

Надежда не покидала наяву, и, неотразимая, приходила во сне. Ах, эти сны в тюремном вагоне! Целая жизнь позади, а они повторяются и повторяются, удивляя с пробуждением яркостью картин.

Прогулки на улице, простые прогулки бесконечной Садовой или столь же бесконечной Первой Мещанской — шагаешь и шагаешь, а сверху летит и летит, запорашивая весь мир, пушистый снежок.

Катание на коньках — неумолимое наслаивание кругов и все нарастающая скорость. Вихрь медно-трубной музыки и томительное замирание сердца.

Очень долгое путешествие полем, ржаным полем с васильками, затем лугом с высокой, по грудь травой, нетерпеливо ожидающей своего косаря.

Прогулка вдоль узкой чистой речки Хоччи, острое желание скорее дойти до излюбленного места, сбросить одежду и кинуться в прохладные чистейшие воды.

Нетерпеливая ходьба широченной площадью, ощущаешь ногами, будто они босые, раскаленную солнцем брусчатку, хочется сдержать тарахтение шагов, и не сразу тебя пронзает: идешь Красной площадью! Волнение — вот сейчас, сию минуту остановят, вернут и ты окажешься в тесном, смрадном и холодном вагоне. Вылетаешь из сна со скоростью пули, бешено колотится сердце.

Тоска, тоска — она терзает, словно остервеневший кровожадный зверь. Теперь уж не уснуть и без конца будут проноситься перед тобой обрывки воспоминаний, чьи-то когда-то где-то сказанные слова или стихи. Это не Блок, и не Есенин, и не Маяковский, неизвестно, чьи они. Стихи ниоткуда и ничьи, наверное, они сочинились сами собой под ритмический перестук колес по стыкам нескончаемых рельсов и вот теперь, бездомные, скулящим щенком тянутся и тянутся за мной в недобровольное странствие.

Я засну, и мне приснится
Лес зеленый и свобода,
Пенье птиц под небом ясным
И глаза моей любимой.

Мы давно не разговаривали с тобой, Маша. Ты обиделась (не пришел вовремя на встречу Нового года), перестала думать обо мне, я почувствовал твое охлаждение. А я думаю о тебе, часто думаю, вспоминаю день за днем, час за часом наше время. И это как повторение праздника, самая острая, щемящая душу мечта о воле. Чаще всего вижу тебя запорошенной снегом, Снегурочкой, Снежинкой, снег даже на твоих ресницах. Вспомни, Маша, мы шли пустырем и забрели в сугробы. Ты зачерпнула снег ботиком и, пока я вытряхивал его, прыгала на одной ноге. Мы так хохотали, надевая ботик, что оба свалились в мягкий сугроб. Потом затеяли переписку на снегу. Ты удивлялась его белизне — это самая чистая на свете бумага! Я вывел большими буквами: «Маша». Ты внизу написала: «И все?» Тогда я добавил «Милая, очень милая Маша». Когда это было? Десять лет назад или сто?

Милая Маша, ты знаешь, мне не раз уже виделся здесь один и тот же скверный сон: будто около тебя опять вертятся эти твои кавалеры — толстый Левушка и сладкий Артур. Но ведь это сон, правда? Зачем они тебе со своими подарками, цветами и серьезными намерениями? Я не верю, что ты можешь так быстро меня забыть. Верно, не можешь? Гони их, Маша, гони! Повтори то, что уже сказала однажды: «Я не хочу вас видеть».

Неужели больше не будет наших удивительных прогулок Сретенкой, Рождественским бульваром, Трубной улицей и Сухаревским переулком, снова Сретенкой, Рождественским бульваром, Трубной и Сухаревским переулком?.. Не будет больше свиданий у цветочного магазина у Сретенских ворот? Не верю, не верю, не могу поверить!

Я проснусь и буду плакать:
Нет ни леса, ни свободы,
Нет со мной моей любимой!
Горько плачу я в неволе.

...Помнишь, мы встретились с Машей в Москве летом 1960 года.

Всей семьей гуляли на Ленинских горах, и мальчишки напросились покататься на речном трамвае. Дождались своей очереди и по трапу весело перебежали на беленький кораблик. Мест всем не хватило, не сразу удалось устроить ребят поближе к борту, ты кое-как пристроилась возле них. Было приятно в жаркий солнечный день очутиться на реке. Мальчишки радовались вслух, Вася задавал бесконечные вопросы. Володя на правах старшего пояснял.

Неожиданно раздался напряженный и звенящий возглас:

— Митя! Митя! Митя!

Я не сразу понял: зовут меня.

— Мы тоже не могли понять, почему так фамильярно обращается к нашему папе незнакомая тетя в белом платье. Потом, когда она подбежала, поняла...

— Что поняла?

— Что не просто знакомая. Она так смотрела на тебя. По-моему, больше никого и ничего не видела: ни трамвая, ни глазающих на нее пассажиров, ни мужа, который подошел следом. Что она спросила у тебя сразу?

«Почему ты не написал мне тогда? Митя, почему? Я ведь долго ничего не знала».

«Что я мог написать, Маша? Я вроде умер. Жизнь оборвалась».

«А потом? Потом же она продолжалась».

«Вернее сказать: началась заново. Мне пришлось заново родиться».

«Ясно», — после паузы сказала Маша и оглянулась.

— Тогда вы оба вспомнили наконец, что стоите не на Сретенке у цветочного магазина и не вдвоем. Ты представил ей свое семейство, а Маша своего супруга. Кстати, он стоял надутый, и я решила разрядить обстановку, отвлечь от вашего запоздалого объяснения. Спасительная тема нашлась тут же: ребята. Он оживился и начал рассказывать о своих девочках.

— И мы с Машей тоже говорили о детях: жизнь, мол, продолжается, молодое растет. Маша нашла, что Вася очень похож на меня.

— Я старалась не слушать вашего разговора, и мне захотелось, чтоб и ее муж не слышал. Он подозрительно поглядывал на тебя и на нее. Пассажиры

тоже заинтересовала ваша беседа, они прислушивались изо всех сил. Мне даже плакать захотелось: люди столько лет не виделись и не могут поговорить по-человечески, кругом галдят, толкаются.

— Трамвай есть трамвай, хотя и речной. В общем, ты права: свидание получилось странноватое. Лучше всего было нашим мальчишкам. Даже мороженое само пришло к ним на очередной остановке. Они очень обрадовались, что ты купила им почему-то двойные порции.

— Ты не обратил внимания на Володю: он очень внимательно смотрел то на тебя, то на эту тетю в белом.

— Его, очевидно, удивляли наши невзрослые обращения: Митя, Маша.

— Они удивляли и ее мужа. По-моему, он просто вздрагивал при каждом таком обращении. О чем же еще шла беседа, если не секрет?

«Ты мало изменился, Митя. Правда, появилась седина».

«А ты изменилась, Маша. Стала такая вальяжная».

«Увы, я сама знаю: постарела. Старшая моя дочь — студентка».

«А как твоя работа в институте, Маша? Я ведь знаю: ты кандидат наук, занимаешься историей театра. Интересно?»

«Каждому свое. На сцене ничего путного не вышло».

«И у меня».

«У тебя другое, Митя. Ты просто не мог осуществить свое призвание».

«Человек предполагает...»

«Ты нашел себя в другом. Я слышала о тебе много доброго, про тебя говорят как про отличного инженера, хвалят твой труд о вечной мерзлоте. Как видишь, я тоже в курсе».

«Спасибо, Маша. Спасибо за доброту».

— И все? На этом все закончилось?

— Да. Ты же помнишь, они вышли на две остановки раньше нас...

Ночь, ночь, бессонная ночь в вагоне. Я лежу, не шевелясь, стиснутый с одной стороны Володей Са-

веловым, с другой Петром Ващенко. Счастливые, они дрыхнут. Вот бы и мне! Я стараюсь, изо всех сил стараюсь не вспоминать Машу, не думать о ней. Побеседуй лучше со своими московскими друзьями, советую я сам себе. Вчера отправил им письма и теперь с тревогой думаю о них. Припоминаю каждую строку.

Меня расстроил Фетисов, он вдруг спросил:

— Ну, кинул свои приветы с того света? (Так я шутя назвал наши послания на волю.)

— Полетели мои голуби... А что?

— Зря. Я не пишу. Никому. Кроме жены, конечно.

— Почему?

— Не хочу подводить людей.

— Глупости!— Я рассердился.— Выдумываем всякие страсти-мордасти. Чем может повредить наше письмо?

— Тем только, что это письмо врага народа.

Фетисов рассказал: знакомых ему людей арестовали за найденные у них письма из лагеря. Петро вспомнил еще два случая. Мякишев тоже начал приводить примеры.

— Хватит,— оборвал я их.— Больше писать не буду. Жаль, раньше не остановили.

Тяжко и больно думать, что мои письма могут повредить Боре Ларичеву или Ване Ревнову. Значит, я должен от них отказаться? Эх, Митя, попробуй заснуть все-таки. Считай до тысячи или до шести тысяч пятисот — по числу километров, оставшихся позади. Ну, давай... Один, два, три... Сто двадцать пять, сто двадцать шесть... Тысяча двести семь, тысяча двести восемь... Тысяча двести девять...

Я засну, и мне приснится
Лес зеленый и свобода...

Черта с два заснешь! И кто придумал этот дурацкий арифметический способ? Дома никогда не хватало времени для сна, мечтал подольше поспать в воскресенье, а здесь...

Боря, скажи, неужели я должен от тебя отказаться? И от Вани, от всех вас? Как же тогда с нашей клятвой о товариществе на всю жизнь? Да разве есть такая сила, способная смять и раздавить дружбу? Не верю!

Интересно у нас получилось. Я оказался в авангарде: первый поступил на завод (спасибо отцу — помог устроиться!). За мной пришли Боря и Ваня. За ними Лена и Марина, Аркадий и Яшка, Женя и, наконец, Галя — она дольше всех колебалась. Сразу познакомились с химией, узнали, что это за штука, когда она не в пробирках и колбочках. Помнишь, Боря, наши подсчеты, которыми занялись мы однажды в Сандуновских банях: у кого сколько на теле ожогов кислотами, едким натром и фенолом? За короткое время порядочно накопилось боевых отметин. Ты крепко пострадал при аварии сушилки Зальге. Ваня чуть не сгорел в цехе салолола при взрыве. Я отравился, когда чистил сублиматор, помнишь, как отпаивали меня молоком? Милое молочко, сколько химиков обязаны ему своим спасением! Наш поэт Женя Каплин написал стихи про молоко, я их помню наизусть.

Ребята, знайте, я мечтаю о повторении тех дней, мечтаю о ночных сменах! Давайте я один отдежурю все ваши ночные смены?! И пусть будет дикая тропическая жара в цехе сублимации, когда пить хочется всегда, в любую минуту. Пусть будет неистребимый запах метилового эфира, что не оставляет тебя нигде — и в театре, и в кино, и на свидании. Пусть кусаются пары хлористого водорода! Как бы я хотел побыть с вами полчаса, рассказал бы вам, ребята, какое это счастье — наш хмурый, опасный завод!

Боже мой, прошло всего два месяца, как мы расстались! Деликатно сказано: расстались! Вашего товарища унесло ветром, и вы прекрасно обходитесь без него, он, бедняга, ничего о вас не знает. Расскажи о себе, Боря. Как твоя Лена? Получается ли у Пряхина лекарство? Своего Федю он спасти не сумел. Поможет ли его препарат Лене? Правда, Федя болел несколько лет, у Лены же процесс в самом начале. Бедная девочка, в цеху аспирина она все боялась, как бы пары уксусной кислоты не разъели зубную эмаль, все берегла свои зубы. Химия ударила ее в легкие. Будем надеяться на пряхинский препарат.

Не рухнули бы их планы и насчет свадьбы. Они дружат с шестого класса, и родители давным-давно в курсе событий. Ларичев-отец в прошлом году собрал совещание двух семей, постановили: жениться, когда

стукнет двадцать. Двадцать уже не за горами — успеет ли пряхинский препарат к сроку справиться с коварными палочками Коха?

Собственно, какая беда, если они женятся позднее? В конце концов, из наших ребят только Марина и Аркадий вступили в таинственный законный брак. Так ведь их еще в школе дразнили: «Арочка и Марочка — женатая парочка». Им сам бог велел, а родители тем более. Мать Марины готова избавиться от дочери любым способом, а родители Аркашки давно считают Марину невестой, якорем спасения. Мы ее всегда немножко жалели: Аркашка ее не стоит. Но ведь любовь...

Аркадий, я с удовольствием вспоминаю твою музыку и даже твои ломания-кривляния. Помнишь как мы с Борькой по просьбе твоей мамы силой выводили тебя гулять, чтобы ты совсем не зачах без кислорода? Вот так Марина теперь ведет тебя за ручку по жизни. Когда же станешь мужчиной?

Ваня Ревнов не переносит Аркадия, презирает его после несчастного случая в салоле, зовет трусом, не верит в его талант. А я верю. Аркадию надо помочь. Вернее, нужно Марине помочь вытащить Аркашку на его дорогу. Милый Ваня, мне в моем каторжном вагоне видно: к людям надо относиться терпимее, снисходительнее. Боря считает: тебя жесточила гибель отца. Разве горе не подсказало тебе быть добрым? Один за всех, все за одного — вот наш закон. Одному невозможно, даже если ты железо. Мог бы я один вынести свое несчастье? Нет! Не мог бы без Володи, без Фетисова, без Петра Ващенко, без Игоря Мосолова. Не мог бы без Павла Матвеевича.

Тебе, Ваня, познакомиться бы с Зиминым. Ты у нас на заводе комсомольский вождь, политик, ортодокс. У Зимины научился бы науке человеколюбия. Я теперь знаю: коммунист прежде всего человек. А Курдюмов, твой учитель? Я говорю тебе: пока ты еще не превратился во второго Курдюмова, подумай о себе.

Ох, ребята, я беседую с вами, даю бесплатные советы, а ведь мне самому так плохо, хуже всех! Друзья мои милые, помогите! Возьмите меня отсюда, верните в вашу жизнь, в ваши хлопоты и в вашу любовь. Или вы поставили на мне крест?

Старшие товарищи и наставники, Дронов, Пряхин и Курдюмов, помните ли вы Митю Промыслова и что думаете о нем? Я вспоминаю, как в тридцатом году прогнали с завода Женю Каплина за то, что он скрыл свое социальное происхождение (отец у него священник). Тогда все отказались от него, качали головами: ай-ай-ай, вредный элемент, проник в нашу среду, притворился.

Про меня, видимо, говорят еще хлеще: мол, казался неплохим парнем и на тебе — враг народа... Такие хитрят, приспособляются и пакостят на каждом шагу. Слава богу, наши органы всегда начеку.

Не верится, что так говорят Дронов и Пряхин, а Курдюмов именно так и говорит, уверен. У него же негибаемые, стальные принципы.

Как же мне объяснить вам? Как доказать, что я не виноват ни перед вами, ни перед товарищами, ни перед заводом? Прошу вас, верьте мне, верьте — я вернусь!

И я вернулся... Рассказать об этом?

Вспоминаю, с какой радостью освобождения, с какими надеждами я вышел из лагеря. Кончился дурной сон, я снова полноправный советский гражданин, начинается новая прекрасная жизнь. Меня поздравляли друзья и администрация лагеря. Предложили остаться работать на стройке вольнонаемным. Я смеялся:

— Что вы? Я в Москву, я домой! Меня ждут родители, завод и институт.

— Как хотите, воля ваша.

— Да, воля моя, моя свобода! — чуть не кричал я, счастливый.

Стоп, наивный! Воля не твоя, никакой у тебя нет свободы, только что новый дом твой, пожалуй, не будет обнесен колючей проволокой.

Мне разъяснили: жить в Москве я не имею права, даже приехать на побывку к родителям. И не только в Москве нельзя жить — любые крупные города закрыты для меня. Сто один километр, ближе я не могу подъехать или подойти к Москве, к другому большому городу. И, куда бы я ни приехал, обязан первым делом явиться в милицию.

Кто-то из товарищей постарше напомнил: «Такое правило при царизме называлось «надзором полиции». Все большевики гордятся, что были под надзором». Понял ли он, какой иронией обжег меня невзначай?

Я тогда не поверил, что Москва для меня под запретом. Да и как я мог не приехать в Москву — там жили мои родители. Рассчитывал на совет и помощь отца, он выручит, поможет бороться за свое будущее. И я поехал. Так раскрылась мамина тайна: отца уже не было. Его постигла такая же, как меня, судьба. И ничего узнать о нем матери не удалось. Лучше бы я не приезжал, лучше бы по-прежнему верил маминим письмам: «Отец тебя обнимает и нежно целует. Рука у него в порядке, но писать трудно, не разобрать почерка. Ты уж его прости...»

Отец, отец, не могу поверить, что тебя нет. Ты говорил: «Я буду жить долго — хочу посмотреть, как вырастет моя революция и мой дорогой сын». Отец, ты нужен нам обоим, ты очень нужен своему сыну и нужен революции. Как же нам без тебя?

Я совсем растерялся, удар был беспощадный и неожиданный. Но надо крепко держать себя в руках из-за мамы — несчастья совсем ее надломили. «Теперь больше не расстанемся», — утешал я ее и едва не ревел, думая о завтрашней явке в милицию.

Меня опередил участковый, сам навестил нас ночью. После знакомства с моим паспортом объявил предписание: покинуть Москву в 24 часа, за невыполнение — уголовная ответственность.

— Вам ясно, гражданин? — спросил участковый

Мне было так ясно, что впору повеситься. Куда деваться? Как быть с мамой? Ходили с Ваней и Борей в милицию, в ГУЛАГ — бесполезно. «Ничего не можем сделать. У вас паспорт с ограничениями». Как же быть? Боря Ларичев придумал выход, мы с мамой в отчаянии согласились. На глазах у жильцов я ушел из дома с чемоданом. Так сказать, уехал. А уехал недалеко... в Томилино, на дачу к Гале Терешатовой. Огромная и всегда пустая дача была знакома нам всем со школьных лет. Галя была рада любому приключению и с удовольствием предоставила мне приют хоть на год.

Она уговаривала своего именитого отца похлопо-

тать за меня. Сопровождаемый Борей и Галей, добрый ее папаша пробился к начальству и нарвался на неприятность. Только и всего.

Украдкой приезжал я на электричке в Москву и встречался с мамой и ребятами на бульварах — на Цветном, на Страстном и на Тверском. Двадцать суток прожил в Томилино, и все двадцать дней и ночей были отравлены боязнью причинить неприятности маме и ребятам. А мама дрожала за меня, она совсем извелась и каждое наше свидание просила об одном: уезжай.

— Тебя посадят. Я больше не выдержу. И тебе не выдержать второй раз. Уезжай, не испытывай судьбу, — молила она.

И я уехал. Разумеется, на Дальний Восток, на стройку, к друзьям по несчастью. Они не удивились и не обрадовались. Взяли меня охотно: большой стройке всегда нужны люди, умеющие работать.

Займусь немного арифметикой, хорошо? Я прожил на Дальнем Востоке не полтора года (половина срока наказания, если учитывать зачеты за хорошую работу). И не три года, если считать полный срок по приговору. Я прожил там почти пятнадцать лет. Вот так-то...

Работал много и упорно, мечтая съездить еще раз в Москву, чтобы привезти маму на новую свою родину. Пришлось поехать раньше, чем предполагал, телеграмма известила: «Мама тяжело заболела». На этот раз мое свидание с Москвой обошлось без участкового и без обмана: не застав маму в живых, не поспев на похороны, я сразу повернул обратно (не понадобились даже 24 часа).

Горе я глушил яростной работой без отдыха, без срока. Моя работа вызывала удивление, почти испуг. Начальство сочло справедливым возбудить ходатайство о снятии с меня судимости. На пятый год работы вольнонаемным судимость была снята. Я вертел в руках справку с печатью («Судимость со всеми, связанными с ней ограничениями снята по постановлению...») и думал: ну, Митя, куда ты теперь? Все города, включая Москву, уже возводят триумфальные арки, оркестры настраивают инструменты для туша (так шутил ныне покойный Петро Ващенко).

— Почему же ты сказал «пятнадцать лет»?

— Сейчас поймешь.

Паспорт у меня был нормальный, настолько нормальный, что для милиции я уже не представлял интереса. Вроде наступило время подумать о своей дороге. Я начал действовать через ГУЛАГ и узнал: вместо милиции мою жизнь регулировала теперь анкета, один-два-три-четыре листа с вопросами. В любой анкете высокой, восьмиметровой каменной стеной — не перепрыгнешь! — торчали вопросы об отце и о заключении. Я послал заявление и документы в московский институт, анкета сказала: стоп! Я решил перебраться в большой город хотя бы в пределах края, разве не пора было расстаться наконец с лагерем? Анкета ответила: стоп! Я выбрал город поближе к Москве и другую работу — анкета сказала: стоп! И еще попытка — анкета снова: стоп! И еще безуспешная попытка. Мой друг Володя Савелов не выдержал, посоветовал схитрить:

— Не пиши, что был в заключении, имеешь ведь право не писать.

Я очень удивился, совет был не в его духе.

— По-моему, старик, ты начинаешь сдавать моральные позиции.

— Иначе состаришься, ничего не добившись! — почти закричал наш бывший староста.

Война отбросила все личные планы, проекты и мечтания. Огромность беды придавила, мысль была у всех одна: не стоять в стороне, помочь. Я потребовал у начальства отправить меня на фронт. Получил отказ. Я подавал заявления одно за другим и неизменно получал отказ.

— Вы что, маленький, не понимаете: фронт вот-вот откроется здесь. Пока надо строить аэродром.

Знакомые, которых броня тоже держала в тылу, вразумляли:

— Война придет и сюда, потерпи!

— На твою долю хватит самураев, Митя.

Я строил то аэродром, то нефтепровод, предприятия боеприпасов, железные дороги. Исступленно трудился дни и ночи. Впрочем, как все в те трудные и героические годы.

— А институт? Ты говорил, что учился во время войны?

— Верно, был институт. Володя и Надежда на-

стояли, чтобы я толкнулся в их строительный институт, на заочное отделение (мол, все равно лопнул твой театральный). Скорее из озорства, чем серьезно, собрал свои грешные бумаги, характеристики и послал в Москву. Ответа и не ждал, привык к обычной реакции: стоп! Ни с того, ни с сего получаю удивившее: принят. Боже мой, что случилось? Если б не Володя, послал бы запрос: нет ли тут какой-нибудь ошибки, имеете дело с махровым каторжником.

Потом выяснял, был ли в институте во время войны еще хоть один студент-заочник. Были, оказывается, единицы из числа инвалидов. На весь огромный Дальний Восток я единственный, предмет умиления профессоров — энтузиастов заочного обучения. Кстати, век не устану благословлять их удивительное терпение: они по-отечески поощряли мое яростное усердие.

Война шла на убыль, в Москве гремели салюты, я трудился на стройке и сверх этого учился, грыз гранит. Институт закончил в три года. Мои заочные благодетели и Володя навели на мысль попытаться обобщить опыт строительства на вечной мерзлоте. Это и стало моим дипломом. Из него, как ты догадываешься, родился с годами труд, который без особых усилий с моей стороны сделал возможным возвращение в Москву и работу в институте.

Ты спрашиваешь: откуда брались силы для всего? Не знаю. Наверное, сознание своей невиновности, сознание, что произошла ошибка, роковая для многих, страшная ошибка, только это давало силу жить, надеяться и работать. Не быть отверженным.

К сожалению, иные находили этому свое объяснение: хочет, мол, загладить, искупить вину. Вот и начинай сначала! Вины-то не было. Кроме того, «свою вину» я один раз уже «искупил» и «загладил» в тюрьме и лагере. Никогда не существовавшая «вина» продолжала висеть на мне железными кандалами.

Скажи, пожалуйста, что за диво! Идут годы, ты уже шагаешь к старости, тебе вроде доверяют, но «пятно» твое почему-то не смывается. Никаких особых претензий, так, сущие пустяки, намеки, анкеты, наводящие вопросы, какие-то шуточки: «Никто в комиссии и не предполагал, что уважаемый Дмитрий Михайлович Промыслов — бывший зэка и лагерник.

Я, конечно, шучу, ты понимаешь, сейчас это никакой роли не играет». Человек всего-навсего «пошутил», а ты почувствовал, как запылал, заныл твой вечный ожог. Да, так было часто.

Проклинай тех, кто стрелял по своим, мы говорим себе снова и снова: наш закон может быть только справедливым. Тюрьма, лишение человека свободы возможно как исключительная мера и самое страшное наказание за тяжкие преступления. Наш карающий суд обязан всегда помнить: тюрьма ранит человека беспощадно, на всю жизнь.

В моей истории все правда, все с подлинным верно. Я привык ее никогда и никому не рассказывать. Так, может быть, я напрасно сейчас вспоминаю прошлое, зря будоражу и тебя и себя? Ведь мы с тобой знаем людей, не устающих повторять с раздражением: «Хватит ворошить прошлое!»

Нет, прошлое надо ворошить обязательно — ради будущего. Моя история — еще одно напоминание. А моя судьба, судьба многих и многих, прошедших сквозь несчастье и горе, живых и мертвых, это кровавая частица общей народной судьбы.

— Но все это было уже позднее. А сейчас давай продолжим...

ПРИЕХАЛИ

Путешествие наше закончилось. На сорок пятый день высадили в Свободном. Подходящее название, ничего не скажешь!

И здесь, на станции Свободный никто не ждал меня, чтобы объявить: «Промыслов, с вещами!» Впрочем, единственный пример прокурора был почти перечеркнут сомнениями и страшными догадками. Сорок пять дней и семь тысяч восемьсот четырнадцать километров, оставшиеся позади, многому научили меня, во всяком случае, поубавили наивности. Далеко, невероятно далеко тот смешной паренек, которого московской ночью 29 декабря 1934 года подняли сонного с постели и повели в «черный ворон». Лет мне оставалось столько же — девятнадцать, а горький опыт тянул на тридцать. После Бутырок, пересылки, тюремного вагона предстояло пройти лагерь. Но я верил, верил в то, что три года заключения меня не

сломят, а через три года, никак не позднее, я вернусь, обязательно вернусь в Москву, домой, на свой завод, в свой институт, вернусь к прежней жизни.

Конвой устроил поверку, поштучный тщательный счет и сдал нас вместе с положенными бумагами охране исправительно-трудового лагеря — таким же крепким и краснолицым бойцам в полушубках и при винтовках. Построенные колонной, мы быстро отшагали несколько километров по жгучему морозу. Солнце и белейшая пелена снега слепили глаза, привыкшие к полумраку вагона. Мы растерянно улыбались и вертели головами во все стороны: непривычно было видеть заснеженные округлые сопочки и похожие на присевших там и сям лохматых рыжих собак маленькие дубки с необлетевшими ржавыми листьями.

Снова поверка перед высоким забором с колючей проволокой поверху — и мы в лагерной зоне. Охрана по списку сдает нас группе людей, одетых в одинаковые неуклюжие ватники. Кто-то из бывалых объясняет: пом. по быту, пом. по труду, воспитатель и лекпом — лагерное начальство, от них все зависит.

— Заходите в барак и размещайтесь! — следует команда.

Длинный пустой барак мгновенно заполняется, занимаем места на деревянных нарах по вагонной системе, в каждом «купе» четыре «плацкарты». Сговорившись, заранее действуем организованно и четко. В нашем купе Зимин и Фетисов располагаются на нижних местах, я и Володя — над ними. Ващенко, Мякишев, Мосолов, Агошин, Птицын, Фролов, Гамузов, Феофанов устраиваются по соседству, справа и слева.

— Выслушайте распорядок!

Кто-то из начальства читает инструкцию: что можно и чего нельзя. Про «можно», собственно, ничего не говорится, зато много всякого «нельзя». Запреты, запреты, запреты... Запрещается выходить из барака без дела, запрещается собираться и ходить в зоне группами, запрещается писать письма домой чаще одного в месяц, запрещается писать групповые заявления, запрещается... запрещается... запрещается молчаться возле барака...

— Выделить дневальных из стариков, из «доходяг» — двоих! — командует начальство.

Выделяем Пиккиева и Мякишева. Дед возражает: он не «доходяга». «Чужие» (заключенные не из нашего вагона) выдвигают старичка, согласного на зачисление в «доходяги».

— Быстро выбрать старосту барака!

Мы кричим: Савелова! «Чужие» протестуют, у них есть свой староста. Наш крик дружнее, и начальство утверждает Володю.

— Задача на сегодня: покормиться, получить обмундирование, пройти санобработку. Разобьемся на две партии: пока одна ест, другая идет в каптерку. Староста, командуй!

Разбиваемся на партии. «Чужие» получают возможность убедиться в испытанных волевых качествах нашего старосты. Один из одетых в ватник — лекпом спрашивает: есть ли больные? Они должны подойти к нему.

Кормимся в столовой лагпункта — барак с длинными столами и скамейками. Удушливо пахнет чем-то кислым и карболкой. Горячая баланда вызывает чуть ли не восторг. Второе блюдо — разварной горох, приводит в изумление щедрое меню.

Допоздна получаем в каптерке обмундирование: подшитые кордом громадные валенки, ватные штаны, телогрейки, грубого полотна белье, — все штопаное, заплатаанное, однако без дыр, продезинфицированное. Теплая одежда в самый раз, так как весной пока не пахнет; говорят, холода здесь до самого мая. Пока толклись возле каптерки, мои ноги в московских ботиночках превратились в ледышки.

Тем приятнее очутиться в бане. Моемся остервенело, с упоением, очень уж много накопили за дорогу грязи и угольной пыли. Намывшись, рядимся в обмундирование и потешаемся друг над другом. Удивительное преобразование происходит на глазах: из нормальных людей — в одинаковых серых лагерников. Зимин не хочет переодеваться, мы его уговариваем: наденьте теплое хотя бы после бани, простудитесь.

В бараке нас ждет сюрприз: «доходяги»-дневальные приготовили кипяток, староста раздал по куску сахару и по полпачки махорки. Чаевничаем и нещадно дымим.

В самом деле, после полуторамесячного сидения и лежания впритирку в движущемся каземате переме-

на обстановки как-то бодрит. К тому же в наш барак бесконечной чередой идут и идут люди — познакомиться с новенькими, узнать, нет ли земляков или знакомых, расспросить про Москву и Ленинград.

Хлопотливый и необычный день завершается приходом пом. по труду с двумя нарядчиками. Они канительно выясняют и заносят в списки: кто на что годен, какая профессия, где и кем работал. Перед уходом один из нарядчиков объявляет: завтра и в ближайшие дни половина барака выходит на станцию выгружать лес и материалы, вторая половина будет заготовлять дрова.

Укладываемся на новом месте. К утру здесь будет просто холодно, но мы рискуем раздеться до белья. Ватная одежда служит подстилкой, смягчающей жесткость нар. Мы еще не знаем о клопах, они пока не почувствовали нашего тепла. Пройдет час-другой, кровопийцы вылезут из всех щелей, и начнется великое сражение.

Нары скрипят и пошатываются при каждом движении. Под скрип, стараясь поменьше вертеться, я думаю: неужели правда, что людей сажают и везут сюда только потому, что стройка ненасытна, ей нужна, просто необходима рабсила?

«Привыкнешь. Не так уж страшно». Это сказал человек с ромбами на красных петлицах — заместитель начальника управления, как его отрекомендовали. Он по очереди вызывал к себе специалистов из вновь прибывшего этапа. Я тоже попал в число специалистов, хотя, по-честному, всего-навсего химик-лаборант и на заводе работал старшим аппаратчиком. К чему здесь, на стройке химики?

Из коридора заходили по вызову секретаря в приемную, оттуда в кабинет высокого начальства. Дошла моя очередь, и я неуверенно вошел в дверь, сделанную в виде дубового шкафа.

Просторный кабинет с письменным столом и прикинутым к нему длинным столом. На стенах портреты Сталина и Ягоды. Хозяин кабинета в строгом военном костюме при ромбах и значке почетного чекиста внушал мне безотчетный страх. Он размеренно шагал взад и вперед по красной ковровой дорожке.

Небольшого роста, белобрысый, с залысинами, с внимательными глазами. Он ходил и ходил, а я растерянно стоял, поворачивая голову то в ту, то другую сторону. Меня беспокоило, что я вместо телогрейки надел свой замурзанный пиджачок с продранными за дорогу локтями. Володя почему-то считал собственную одежду приличнее и тоже явился сюда в своем помятом и грязном костюме.

— Сколько тебе лет? — спросил начальник.

— Девятнадцать.

— Немного, — усмехнулся начальник, прошелся в самый конец ковровой дорожки и вернулся. — Ты ведь и городского-то не мог видеть, а?

— В кино видел.

— В кино! А враг народа, враг Советской власти — это уже не кино. Как же так?

Я вспыхнул. Мне казалось, кровь хлынет из моих глаз и зальет дорожку. Начальник снова прошелся и, остановившись совсем рядом, пристально всматривался в мое пылающее лицо.

— Что молчишь? Стыдно? Как же ты стал врагом Советской власти, как сумел заработать пятьдесят восьмую статью? Рассказывай.

— Что рассказывать?

Я потерянно молчал, и начальник поторопил:

— Ну, будем молчать, нечего сказать?

— Что я могу сказать? Если скажу: я не враг и ни в чем не виноват, вы не поверите, будете смеяться. Мол, все так говорят, а ведь органы даром не наказывают. Что же, тебе суд ни за что дал три года лагеря? А какой суд? Суда не было. Вызвали три раза на допрос, наорали, ни слову не поверили, вызвали снова подписать решение. И все! Что я вам должен сказать? Что враг и виноват? У меня отец — старый большевик, и я сам комсомолец, рабочий. Такое сказать про себя — лучше и не жить совсем. Лучше умереть. Кое-кто так и сделал в нашем этапе. И правильно, выходит.

Чекист слушал, не перебивал, только отправился в очередную прогулку по дорожке.

— Зачем же умирать в девятнадцать лет? — спросил он. — Будешь хорошо работать, оправдаешься перед народом. Искупишь свою вину.

— Какую же вину, товарищ начальник? — я не

мог заставить себя выговорить обязательное для заключенного обращение: гражданин начальник. — Никакой вины нету. Меня посадили по недоразумению, верьте мне. И меня и многих других, кого я узнал в этапе. Что-то происходит, надо в этом разобраться, товарищ начальник. Помогите мне, помогите нам доказать правду!

Он будто и не слышал моих отчаянных слов.

— У нас в лагере существуют зачеты для хороших работников, — сказал он. — Тебя привезли на важную государственную стройку. Ты работал на заводе, у тебя есть выучка. Если будешь хорошо работать, день засчитают за два. Понял? Как тебя зовут? — Он нагнул над столом, там, видно, лежал список. — Промыслов Дмитрий, так?

— Да. Дмитрий Промыслов.

— Вот так, Промыслов. — Он задумался. Может быть, фамилия показалась ему знакомой? Или слышал о моем отце? — Будешь работать в контрольной лаборатории по специальности. На нашей стройке есть такая лаборатория — проверяет качество материалов для бетонных сооружений. Трудом и поведением оправдаешь себя, повторю, искупишь вину.

Я молча стоял, опустив голову. Искупать вину? Разве я не сказал, что нет вины, что нечего искупать?

Почему он не услышал, не захотел услышать меня? Не поверил.

Именно в этот момент меня впервые пронзила мысль: а что если мне навсегда перестали верить, если до конца дней придется доказывать свою невиновность и правоту?

— Вот так, Промыслов. Я распоряжусь, и тебе дадут пропуск, будешь ходить на работу без конвоя.

Я стоял и молчал, убитый разговором. Не мог выдать простого слова «спасибо». Спасибо за доверие? А почему доверие, если я враг?

— Ну, иди, — отпустил он меня. — Понял?!

Понял, как не понять. Павел Матвеевич, одним из первых побывавший у чекиста с ромбами, рассказал обо мне. Ему я обязан незаслуженным зачислением в разряд специалистов. Здесь, как и во всем, действовал его принцип активного отношения к жизни. Думал обо мне и о товарищах, его тревожило наше

будущее, боялся, как бы не пропали в лагере. Спасибо вам, комиссар, тысячу раз спасибо!

Вечером в бараке выяснилось, что всем обещана работа, много работы. Я изо всех сил старался скрыть свою подавленность. От Володи, положим, не удалось спрятаться. Начал выяснять: чем я расстроен?

Встреча с чекистом окончательно погасила надежды, которые, оказывается, тлели в душе.

Не могу забыть его вопрос: почему стал врагом Советской власти? Не могу забыть его слова об искуплении вины. Володя, милый мой, верный друг, я ничего не понимаю!

Чекист мне не верит, наверное, не верят и другие, начиная с Михаила Ивановича Калинина, которому я шлю заявления, до Бори Ларичева, которому подаю сигналы бедствия?

Из всего сказанного начальником примем к исполнению совет: хорошо работать, чтобы получить зачеты, сокращающие срок наказания вдвое. Итак, Митя, стисни зубы, терпи. Перестань писать бесполезные заявления — всем! всем! — Москва слезам не верит!

Перестань строчить послания друзьям — не нужны им твои сопли-вопли, слышишь? Небось думают: чужая душа — потемки, казался хорошим парнем, а органы его наказали: враг! Вот и присылает письма-притворки: караул, помогите, не виновен. Возьмем даже крайний случай: не виновен. Мы поверим, другие все равно не поверят. Только и добьешься неприятностей: за переписку с ним по головке не погладят.

Когда-то Яшка Макарьев отказался от своего отца. «Отмежевался от классового врага», — хвастался он. Попробую использовать Яшкин опыт по принципу от обратного: помогу сам своим друзьям отмежеваться от их бывшего друга.

И Маше помогу: избавлю от никчемного знакомства. Под влиянием минуты чуть не написал ей письмо. О чем, дурак? Все о том же: я заключенный, но не виновен и прочие жалкие словеса. Не надо! Исчез в неизвестном направлении. Таинственно и романтично!

Жизнь началась сначала, буду считать, я только-только родился. Все заново. Новая география: вместо Москвы — Свободный. Новое место работы, новые друзья. И ничего из прошлого.

Ничего? Кроме мамы и отца. Они останутся навсегда, их можно вырвать только вместе с сердцем.

«ПРИВЫКНЕШЬ, НЕ ТАК УЖ СТРАШНО»

Тебе выдали магический кусочек картона, с ним ты можешь без охраны выйти за зону, за колючую проволоку. Вспомнил Колю Бакина: напрасен был его безумный побег, сейчас и он без всяких усилий получил бы такой же пропуск.

С раннего утра начинается, Митя, твоя новая работа. «Привыкнешь», — как пароль, повторяешь слова начальника с ромбами. Сердце бешено колотится, пока стрелок неторопливо изучает твой пропуск, и — о, диво! — тебе разрешено выйти из лагеря. Иди на все четыре стороны, Митя!

Пожалуй, «на все четыре стороны» слишком размашисто. Пропуск годен для движения на работу по точно определенному маршруту. Как поезд не может идти не по рельсам, так и ты не можешь отклониться от своего маршрута. Ни вправо, ни влево. Человек из охраны, выдавший пропуск, напирал на это. Весьма многозначительно подчеркнул, протягивая кусочек картона: «Здесь вложено большое доверие вам, старайтесь оправдать».

Тебе объяснили путь к лаборатории, и ты шагаешь зимней дорогой. Мороз, чистейший немятый снег вокруг, солнце над всей землей, грудь твоя начинает дышать глубоко и часто. Бутырская камера, пересыльная тюрьма, вагонзак — теснотища, вонь от параши, ощущение давно не мытого, грязного тела, воздух густой и зеленый, словно жидкость какая-то. Ты вроде и не дышал все это время (с того памятного вечера на катке). Барак, заполненный нарами, — это не тюремная камера и не вагон, однако тесно и душно: двести сорок человек непрерывно выдыхают углекислоту.

То ли дело здесь, на морозе и под солнцем! Сочный ледяной воздух льется в глотку, и ты ощущаешь, как расправляются легкие. Воздух, необъятность свежего воздуха — это и есть воля, свобода?!

Прошел с километр, и впереди осталось не боль-

ше, когда встречный в шинели со шпалой в петлице остановил тебя и строго предложил предъявить документы. Он очень, очень тщательно проверил твой пропуск и неохотно разрешил: «Можете идти».

Могучий пропуск, он не разрешает задержать тебя и вернуть в зону. Ты медленно двигаешься дальше и неторопливо дышишь всей грудью, дабы растянуть удовольствие (до лаборатории не больше полкилометра). Ты озираешь стоящие в ряд вдоль дороги новенькие, из рубленого бруса коттеджи и думаешь: кто живет в этих славных теремах?

И вдруг из одного терема выходит боец в полушубке и при винтовке. Догадываешься: по твою душу. Да, конечно. Предъявляешь кусочек картона — и путь свободен. Иди, Митя, дыши, скоро лаборатория.

Но ты чувствуешь: дышать трудно, тяжело, дышать-то нечем. Именно сейчас, когда воздуха так много, дышать особенно тяжело, хуже, чем в камере и в вагоне. Среди снежного простора, возле вольных коттеджей ты задыхаешься, с жалостью думая о себе: я заключенный, я человек вне закона, я человек, лишенный воздуха свободы, я не человек, любой дядя в шинели волен остановить меня и повернуть назад!

Кстати, вот и он, упомянутый дядя в шинели, останавливает буквально в двух шагах от лаборатории.

Твой могучий документ, твой пропуск больше не радует. Ты понимаешь: это наиболее надежный вид охраны, тебе дали его вовсе не из доверия, а просто знают: никуда, голубчик, ты отсюда не уйдешь, не убежишь, не уедешь, не улетишь, никуда! Сожаления в адрес Коли Бакина были слишком поспешны.

Сколько бы ты теперь ни ходил вот так, минуя вахту и колючую проволоку, сколько бы ни шагал — в мороз, в дождь, в пасмурную ли, в прекрасную ли солнечную погоду, — тебе всегда будет нестерпимо душно и нестерпимо тяжело, тебе всегда будет нечем дышать.

«Привыкнешь. Не так уж страшно», — снова вспоминаю эти слова. Притерпишься — иного тебе не дано.

Голова разламывается от мыслей. Куда нас привезли? Что же это такое, лагерь? Какое-то особое государство в огромном Советском государстве? Или большая стройка с очень строгой дисциплиной из-за

близости государственной границы? По виду все вроде как у нормальных граждан.

Если у лагерника, к примеру, необходимость пожаловаться на что-то или на кого-то, он может изложить жалобу на бумаге и опустить ее в «ящик для заявлений». Такой ящик висит при входе в барак, и шутники называют его «ящик для дураков».

Говорят, есть и парикмахерская. Один парикмахер на всю зону. Будучи деловым человеком, он сам стрижет и бреет начальство, а для остальных организовал самообслуживание, «самоуголок» — на полочке лежат безопасная бритва, кусочек мыла, помазок и блюдце, на стене квадратик зеркала и над всем этим устройством призыв:

Тот, кто морду хочить брить, —
Пусть прибор потом помыть.

Месяц за месяцем, месяц за месяцем новичок становится настоящим лагерником, привыкает. Ты тоже привыкнешь, Митя. Привыкнешь говорить о себе условно, таким кодом. Предположим, кто-то в зоне спрашивает: «За что сидишь?» Ты называешь статью и срок наказания. На твой вопрос отвечают таким же кодом. И он и ты молчите, когда кто-нибудь из лагерной администрации повторяет: «Искупишь вину перед народом». Никто не возражает, мол, мне нечего искупать. Из разговора с большим начальником ты понял: о своей невинности и о прочих таких вещах говорить бесполезно. Тебе ответят: «Все невинные, известно». Или: «Выходит, по-твоему, органы сажают в лагерь невинных, а?»

Единственное то, что работа не бессмысленная, нужная стране. Строим Транссибирскую железную дорогу. Однопутка превращается в первоклассную магистраль, создается БАМ — Байкало-Амурская дорога к океану, которая пронизет стальной нитью северные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, принесет жизнь на неуютные, малонаселенные и вечномерзлые земли Советского Союза. Больше того, строительство имеет особое значение: артерия, связывающая Дальний Восток со всей страной, будет отодвинута от границ к северу, в места почти неприступные.

Твое дело на стройке — лаборатория. Размещает-

ся она в неуклюжем, похожем на длинный барак помещении. Едва войдешь внутрь — высокие столы, химическое стекло, приборы для испытаний материалов. Тебе сразу сообщили: руководитель лаборатории — не просто химик. Он профессор, видный ученый. Осужден по «шахтинскому процессу» и не имеет права на звание профессора, правильнее называть его «бывший профессор».

Подходя впервые к лаборатории, невольно замедляешь и замедляешь шаги. Что ждет там тебя? Какие люди, какая работа? Пришел рано, до звонка, и сразу согрела приветливость незнакомых людей в одинаковых серых ватниках. К москвичу интерес обострился, пришлось рассказать, где жил. Правда ли, что снесли Сухаревскую башню и в самом ли деле строится метро в районе Каланчевской площади?

У профессора, как у москвича, нашлось тоже много вопросов. Твоя квалификация его вполне устроила. Он вызвал заместителя, и они мгновенно сочинили приказ о зачислении тебя техником-лаборантом с сего числа (именно с сего числа пошел тебе паек с приварком и, что гораздо важнее, зачеты: считать день за два!).

Показали рабочее место: комнатка с большим прессом, стол, стул. Предстояло с помощью пресса испытывать на прочность бетон, из которого на далекой трассе складывались мосты, трубы и прочие сооружения. Ознакомившись с инструкцией и выслушав недолгие объяснения, приступил и в первый же день освоил работу. Сначала приносил со двора холодные кубики и аккуратно укладывал их стенками. Потом хватал увесистый гладкостенный, запотевший в тепле куб $20 \times 20 \times 20$ сантиметров и ставил его на полированную площадку пресса. Движением рычага нагнетал давление и следил за стрелкой манометра. В какое-то мгновение стрелка замирала, начинала дрожать и бетонный куб разваливался на куски. Ты отмечал показание манометра и производил несложный расчет. В итоге выяснялась прочность кубика и прочность железнодорожного моста, сложенного из одного и того же бетона. Данные ты записывал в лабораторный журнал и в паспорт моста. Вот и все.

Работа немудреная, главное, она, говорят, полезна для стройки, полезна для страны. Ты берешь кубик,

давишь его на прессе, делаешь расчет, записываешь результат. Берешь кубик, давишь, записываешь. Берешь кубик, давишь, записываешь. Работы хватает от звонка до звонка. Привыкнешь, Митя. «Не так уж страшно...» Берешь кубик, давишь, записываешь...

Твои товарищи тоже вроде при деле, им удалось устроиться поблизости. Не зря же говорят старожилы: чем дальше от управления, тем хуже работягам, мелкое начальство безжалостно тиранит, жаднее отрывает куски от пайка.

Володя Савелов в проектно-монтажном отделе. Кроме него в этом отделе еще десятка два инженеров и техников. Остро отточенный карандаш, резинка, готовальня, рейшина и логарифмическая линейка — орудия его труда, с ними Володя имел дело в Москве и часто вспоминал в долгой дороге.

Он с головой ушел в проект железнодорожного поселка, но чувствует себя скверно: и начальник, и заместитель, и старший инженер глаз с него не спускают. За вредителя считают, что ли? Хотя про них говорят, будто они сами сидят за вредительство. В общем, привыкнешь, Володя. Другого выхода нет.

Александр Николаевич Фетисов был директором завода, и его назначили в лагпункт, помог по труду. Он составляет разрядки по требованию прорабов, распределяет людей по объектам. На наши розыгрыши добродушно отвечает: «Труба, конечно, пониже, но могу отыгаться на ваших зачетах».

У Фетисова уже полно забот: много неполадок и безобразий, охрана своими строгостями мешает производству, нормы с потолка, блат и взятки, нельзя с этим мириться. Значит, предстоит бой с жуликами и филонами, бой каждый день и каждый час. Александр Николаевич намерен убедить в необходимости этой борьбы своего начальника, который озадачен его энергией и непримиримостью. В крайнем случае, говорит Фетисов, вернусь к специальности слесаря, подходящая мастерская имеется.

Зимин Павел Матвеевич тоже работает почти по специальности. Инструктор в штабе соревнования и ударничества. Есть, оказывается, в лагере такой штаб.

— Та же вроде бы партийная работа, — грустно улыбаясь, говорит Зимин.

Он крепко было взялся за работу в этом самом

штабе, успел сразу поспорить с руководством. Его осадили: мол, вы заключенный, не забывайте свое место.

Дорогой Павел Матвеевич. Мне так и не удалось потом узнать о твоей судьбе. Знаю только, тебя настиг, поглотил в своей пучине тридцать седьмой год.

Воробьеву и Севастьянову поручили сколотить из крестьян плотницкую бригаду, так что «жлобы» оказались все вместе. Плотников отправили на трассу рубить дома. Прощание вышло почти трогательным. Воробьев протянул руку Зимину. «Ты, комиссар, умный и душевный мужик. Жаль, такие не занимались деревней, может, не погибла бы она. Будь жив». Севастьянов, прощаясь, укорил Фетисова: «Вот хаяли вы нас как хотели, а мы работники, можем любую работу. Сказано рубить дома, будем рубить. Скажут возить землю тачками или грабарками — пожалуйста. А почему? Мы работники. Не блатные, которые фордыбачут».

Блатные действительно фордыбачили. Они быстро нашли в лагпункте своих, и Кулаков от всей бражки заявил отказ от работы. Было разыграно красочное представление: «Мы работать не можем, пусть работает Ибрагим». «Тачка, тачка, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». «Мы люди интеллигентные, наше дело взять скулу, помыть кожу с сарой». Словом, урки устраивали «парад ретур с понтом». Смысл его заключался, как объяснил Мосолов, в том, чтобы не ехать на трассу, закрепиться в комендантском лагпункте.

Игорь удивил лагерную администрацию, заявил, что пойдет на любую работу. Хотелось бы, конечно, бетонщиком. После выяснения, где он получил квалификацию, сразу определили на бетонный завод. Кореша попробовали мутить воду, повлиять на Игоря, затеяли «шухер», но получили решительный отпор. Одна беда: бетонный завод был на другом лагпункте. Мы дали клятву не забывать друг друга и распрощались.

На наших глазах этап в тысячу человек незаметно и быстро растворился.

К вечеру возвращаемся «домой» — в зону, в наш барак. По возможности приходим не пустые — с дро-

вишками, с досочками, со щепками и даже со стружками; много требовалось топлива, чтобы хоть толику тепла вдуть в прорву огромного холодного барака.

Обмениваемся впечатлениями за день. Товарищи постарше, вроде Зимина, Фетисова, по уши влезли в хлопоты, у них не бывает досуга, они постоянно сражаются с несправедливостями. Лагерники помоложе заводят игры. Главное развлечение — девочки. Дома ребята пошли бы с ними в кино, на танцы или просто гулять, «прошвырнуться». А здесь девочки запрещены категорически, противопоказаны свирепому режиму. Да и какая может быть в этом реальность, если фактически девочек в лагере — единицы в поле зрения?

Итак, не надо о девочках, не нужно о доме. Каждый внушает себе: не тронь, не думай об этом. А о чем думать? Вообще поменьше думай, поменьше вспоминай, поменьше задавай вопросов себе и товарищам.

Но что же делать с дурацкой головой, с так называемым разумом? Его же забыли отменить в постановлении Особого совещания, и, пока он не превратился в рудимент, он действует, томит, тревожит. Действует наяву и во сне. Наяву и особенно во сне приходят девочки или жены, приходят дом и воля, приходят воспоминания. Приходят вопросы — злые, мучительные, проклятые вопросы.

Что же происходит, дайте ответ? Может, и в самом деле нас привезли сюда потому, что позарез нужна рабочая сила? Подумай, какую штуку решили отгрохать — дорогу на океан, работы хватит на миллион человек. Раз нужны люди, их и шлют отовсюду.

Ясно, да не очень. Зачем же понадобилось меня, Володю и многих других силой вырвать из дому, посадить за решетку и тащить сюда в вагонзаке? Разве я сам не поехал бы добровольно, если б меня вызвали в райком и предложили: «Поезжай на край света, ты там нужен»? Разве не так было с тысячами строителей Комсомольска-на-Амуре? Трудно, холодно и голодно, однако обошлось без колючей проволоки, без насилия, без страшного обвинения «враг народа».

Нет, что-то здесь не так, это не ответ. Кто же даст другой, единственно верный ответ? Я должен, я должен знать: почему и зачем я здесь? Почему здесь Зимин и Володя, Фетисов и Петр Ващенко? Не

многовато ли вдруг преступников? Бывалые люди, говоря о нашем лагере, называют астрономические, шестизначные цифры.

Никто, никто не может ответить на твои вопросы, Митя. Знают ли в Кремле Сталин и его соратники, как ответить? Знают ли они, что происходит? Могут ли объяснить причины массового беззакония и террора? Нельзя верить в то, что знают и мирятся, знают и одобряют беззаконие, всерьез считают честных советских людей ответственными за смерть Кирова. Нет и нет, в это нельзя верить!

Если этому верить, тогда правду говорил Дорофеев. Вспомни... Он утверждал, будто зло и беззаконие благословил сам Сталин, будто бы ему, Сталину, нужно было расправиться с неугодными людьми в партии, провести всенародное устрашение умов. Он якобы и воспользовался удобным случаем. Это же чушь, несусветная чепуха! Прокурор явно спятил, «был не в себе», по деликатному определению Зимина.

Так кто же даст ответ? Старшие твои товарищи не могут ответить. Или не хотят? Почему Зимин мрачнеет и уходит в себя, когда в воздухе повисают проклятые вопросы? Он ответил бы, если б мог. Всю дорогу в вагонзаке внушал нам: «Недоразумение, чудовищное недоразумение, вас по ошибке посадили в тюрьму и послали в лагерь. Сталин разберется, заставит исправить ошибку, виновных накажет. За критику, за отстаивание своей правоты нельзя арестовать и держать в заключении. Потерпите немного, и тучи над нами рассеются».

Увы, они не рассеиваются, тучи. Мы заключенные, мы преступники, и никто не собирается исправлять чудовищную ошибку. Зимин и Фетисов, Володя и Мякишев, Петро — все они, мои товарищи, повторяют, как заклинание: «Молчи, не мучай себя, работай».

И я работаю. День за днем, неделя за неделей. Живу в бараке за колючей проволокой. Рано утром под охраной кусочка картона иду в лабораторию давить кубики и к вечеру возвращаюсь.

Иногда мы с Петром по просьбе соседей устраиваем небольшие концерты: я читаю стихи, он поет. Потом поем всем бараком. Это для того, чтобы не терять человеческий облик.

Дни идут, течет драгоценное времечко. Зачеты ме-

няют счет времени, оно как бы уплотняется вдвое и стоит вдвое дороже — люди быстро стареют. Не только от плохой пищи, не от жилья в холодном бараке с клопами, а из-за колючей проволоки, из-за проклятых безответных вопросов.

Дни идут, бежит времечко, течет меж пальцев, словно песок, удержать невозможно. И никто не помышляет удерживать, наоборот, каждый шире растопыривает пальцы: теки быстрее, песок, скорее бегите, дни, скорее, еще скорее! Ты все подсчитал: столько-то дней отсижено в тюрьме, плюс столько-то дней отбыто в движущемся вагонзаке, плюс дни на дровозаготовках; эти дни до выхода на работу в лабораторию считаются день за день без зачетов. Их ты чистогапом вычитаешь из общего числа 1095 дней, положенных по приговору (365×3). Остальные 1024 дня делишь на два, и получается 512 дней. Вот эти 512 дней и расписаны в твоём заветном календаре, это число ты аккуратнейшим образом убавляешь перед сном на единицу.

И чем меньше число, чем ближе заветная дата, чем ближе огонек в ночи, чем ближе твоя финишная ленточка, тем все сильнее тревога, тем все острее язвит и колет душу главный вопрос: а не напрасно ли ты ведешь счет, настанет ли в самом деле конец ожиданию, коснешься ли ты грудью ленточки финиша, спадут ли через 511, 509, 508, 489, 453, 425 дней окопы с твоего сердца?

И нет, нет у тебя уверенности. Ты сомневаешься: а вдруг все повторится? Если один раз был наказан без преступления, почему не наказать второй раз? Вспомни историю Игоря Мосолова, ведь он здесь только потому, что сидел раньше. Его сунули в тюрьму, когда он впервые ощутил себя человеком, завел семью, когда исполнилась его мечта: родился сын.

Игоря Мосолова лишили свободы по навету, на основании подозрений и недоверия, вернее, совсем без оснований, просто на всякий случай, так сказать, в порядке профилактики. Почему ты гарантирован от такой профилактики? Один раз сидел? Сидел. Значит, есть в тебе какая-то такая неблагонадежность, вредный и чуждый, социально опасный элемент. Не лучше ли изолировать тебя от общества на всякий пожарный случай?

Да, Митя, главный и самый проклятый вопрос будет ежедневно, ежечасно и ежеминутно жечь тебя, ранить днем и ночью. Особенно по ночам будет тихонько шевелиться в тебе, будет бить барабанным боем, взрываться громами. Ты научишься не задавать главного вопроса товарищам, привыкнешь ничем не выказывать своего смятения. Научишься безграничному и благородному человеческому терпению. Научишься лихо, хлестко отвечать товарищам по работе, по бараку, по несчастью на тот случай, если у них иной раз прорвется к тебе, самому юному, почти мальчику, жалость, безотчетное желание подбодрить толчком плеча, просто взглядом внимательных, всевидящих глаз. Часто теперь, когда на меня, теснясь, набрасываются воспоминания, я думаю: и все-таки то было начало «пути», тридцать пятый год еще только заступал на вахту. Леденят сердце мысли о том, что же было здесь, в тех самых местах через несколько лет, когда я вышел уже за пределы зоны.

Вот и позади длинная дорога. Теперь мы проделали ее вместе и ты узнала, что такое вагоны с решеткой на окошках.

Я захожу к сыновьям. Люблю постоять в комнате у них, когда они спят. Если побыть с ними хоть немного, непременно придут к тебе мир и покой. Люблю слушать их ровное и тихое дыхание, иногда неожиданный всплеск смеха и быстрый разговор во сне. Удивительное тепло и чуть слышный запах излучаются от их крепких мальчишеских тел. Милые мои мальчишки, как бы я хотел растянуть праздник вашего детства!..

— Митя, слышишь, Митя? Ты уже целый час стоишь тут. Разбудишь.

1964

Подготовка текста и публикация
И. Л. ЛЮБИМОВОЙ-АЖАЕВОЙ

Василий Николаевич Ажасв

ВАГОН

Роман

Редактор Г. Калашников

Художник Н. Стасевич

Художественный редактор А. Дианов

Технический редактор В. Котова

Корректоры В. Дробышева, Г. Селецкая

ИБ № 5624

Сдано в набор 26.08.88. Подписано к печати 10.10.88.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,76.
Уч.-изд. л. 11,97. Тираж 200 000 экз. Заказ № 173
Цена 3 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Отпечатано с набора областной ордена «Знак Почета» типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли, 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2, на полиграфическом предприятии «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 445043, Тольятти, Южное шоссе, 30